



М. Н.
ЗАГОСКИН

Михаил Николаевич Загоскин

Вечер на Хопре

Цикл повестей «Вечер на Хопре», написанных в «готическом» стиле романтизма, интересен не только ярким сказочно-фантастическим колоритом, но и богатым фольклорным материалом, что роднит его с известными произведениями Н.В.Гоголя.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ0005
ПАН ТВАРДОВСКИЙ0040
БЕЛОЕ ПРИВИДЕНИЕ0074
НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ0092
КОНЦЕРТ БЕСОВ0115
ДВЕ НЕВЕСТКИ0147
НОЧНОЙ ПОЕЗД0174
Комментарии0197

Михаил Николаевич Загоскин
Вечер на Хопре

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов – дай бог ему царство небесное, – был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится, в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре. Как теперь, гляжу на десятка два крестьянских изб, разбросанных по высокому берегу реки, на его огромные кирпичные палаты, построенные, на диво всему Сердобскому уезду, в два этажа, со сводами и с такими толстыми стенами, что от них, как мячик, отскочило бы сорокавосьмифунтовое ядро.

Я не был еще знаком с Иваном Алексеевичем, когда приехал по делам в Сердобск. Имея рекомендательное письмо к городничему, я остановился у него в доме и тут-то в первый раз услышал о богатом помещике, отставном секунд-майоре Асанове. Не проходило дня, чтоб в сердобском высшем обществе не толковали о его странностях и причудах. Городничий, уездный судья, стряпчий – словом, все власти и первостатейные сановники города

Сердобска относились об нем с весьма дурной стороны; одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа. Правда, капитан-исправник всегда восставал против этой клеветы, но так как он один из всего Сердобска водил хлеб-соль с Иваном Алексеевичем, то никто и не давал веры его словам. «Воля твоя, Дмитрий Иванович, – говаривал ему часто городничий, – воля твоя, а это что-нибудь недаром: кто не хочет жить с людьми, у того совесть не чиста. Добро б он был человек скупой – так нет! Посмотри, как сорит деньгами! Когда прошлого года был пожар в слободе и открыли подписку на погоревших мещан, так он один дал больше, чем все наше дворянское сословие. Ну, рассудите милостиво, господа, что он, для экономии, что ль, живет в этой хоперской деревне, в которой, чай, нет господской запашки и двадцати десятин во всех полях? Человек он богатый: за ним в одной Пензенской губернии с лишком тысяча душ. Вот хоть его Засурская волость: есть к чему

руки приложить, десятин по пятнадцати на душу, – а угольев-то сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми поставах – подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне – Пенза под боком. Конечно, – прибавлял обыкновенно городничий, поправляя с важностью свой галстук, – у нас и в Сердобске общество дворян прекрасное, но ведь Пенза – губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, Английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы – словом, чего хоешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить – Пенза– городок Москвы угол-лок!»

Хотя сии блестящие похвалы губернскому городу Пензе казались мне всегда несколько преувеличенными, но, не смотря на это, я разделял сначала безусловно мнение городничего. В самом деле, что за охота богатому чело-

веку жить затворником в бедной деревушке, верстах в тридцати от уездного города и, по крайней мере, в двадцати от самого ближайшего соседа, и жить в каком-то заколдованном доме – так прозвала каменные палаты Ивана Алексеевича сестра городничего, девица зрелых лет, с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душою и сердцем отменно романтическим: одна она выписывала из Москвы все романы знаменитой Радклиф[1] и первая известила сердобских жителей о существовании госпожи Жанлис[2].

– Вы не можете себе представить, – говорила она мне однажды, – какой ужас наводит на всех этот старый дом, которому недостает только башен и подъемного моста, чтоб походить совершенно на Удольфский замок или Грасфильское аббатство. Если б вы знали, сколько рассказывают о нем чудных и страшных повестей. Говорят, что лет сто тому назад прежний помещик держал в нем разбойничью пристань, что глубокие погреба под этим домом завалены человеческими костями, что по ночам происходят в нем необычайные явления: слышен громкий стон, и хотя капи-

тан– исправник уверяет, что будто бы это воет ветер по узким коридорам и переходам, которых понаделано в доме великое множество, но он говорит это потому, что живет в ладу с Асановым. Покойная моя мамушка рассказывала мне преужасную историю об этом доме; странно только, что я почти совсем ее забыла, а, кажется, это не так давно; правда, я была тогда еще совершенным ребенком и, как помню, так перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. В этом рассказе есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поезд; мамушка божилась мне, что это не сказка, а быль и что во всем здешнем уезде нет ни одного старика, который не знал бы эту повесть со всеми ее подробностями. Говорят также, что будто бы от времени до времени то же самое, что случилось некогда ночью в этом нечистом, заколдованном доме, повторяется и теперь, а особенно с тех пор, как нынешний помещик переехал в него жить.

– А разве до Ивана Алексеевича Асанова никто в нем не жил? – спросил я сорокалетнюю сестрицу городничего, которая так еще недавно была ребенком.

– Да, никто. Лет двадцать сряду все двери и окна на глухо в нем были заколочены.

«Ну, жаль, что Иван Алексеевич незнаком со мною», – думал я, очень часто слушая все эти рассказы и толки. Стыдно признаться, а грех утаить, я всегда был смертельный охотник до страшных историй и не только верю, но даже не сомневаюсь в существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои могилы, так же как и огненных змеев, которые летают к деревенским вдовушкам и, рассыпаясь над кровлями изб, являються к ним в виде покойников, о коих они тоскуют. Я скорее посумнуюсь, что Киев был столицею великого князя Владимира, чем поверю, что в нем никогда не жилали ведьмы, и, признаюсь, пиитический Днепр потерял бы для меня большую часть своей прелести, если бы я не верил, что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и поиграть при свете луны в его чистых струях, что они, как рассказывает один из наших поэтов:

*То в восторге юной радости
Будят песнями берега;
Иль с беспечным смехом младо-*

сти
Ловят месяца рога
На пучине серебристые.
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах – и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог...[3]

Не могу описать, какое неизъяснимое наслаждение чувствую я всякий раз, когда слушаю повесть, от которой волосы на голове моей становятся дыбом, сердце замирает и мороз подирает по коже. Пусть себе господа ученые, эти холодные разыскатели истины, эти Фомы неверные, которые сомневаются даже в том, что лешие обходят прохожих и что можно одним словом изурочить человека, смеются над моим легковерием; я не променяю на их сухие математические выводы, на их замороженный здравый смысл мои детские, но игривые и теплые мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую пословицу, что «на охотника зверь бежит», во всю жизнь мою не удавалось мне видеть ничего чудесного, и даже все колдуны, с которыми

ми я встречался, как будто на смех, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я наверное знаю, что многие, смотря в два зеркала, поставленные одно против другого, видят и бог весть что, а я смотрел однажды до тех пор, пока мне сделалось дурно и в глазах позеленело, а не видел ничего, кроме бесконечной перспективы и какого-то туманного пятна, которое, как открылось после, было не что иное, как простое черное пятно на зеркале. Уж я ли, кажется, не старался все испытывать! Года два тому назад ходил в Иванов день ночью в лес подкараулить, как цветет папоротник[4], но, когда время стало подвигаться к полуночи, на меня напал такой страх, что я пустился бежать без оглядки и хотя слышал позади себя необычайный шум и свист, но не могу сказать наверное, нечистая ли сила это проказила, или просто гудел ветер по лесу. В другой раз, когда я жил еще в степной моей деревне, я решился идти в полночь на кладбище. «Авось, – думал я, – хоть один мертвец вылезет из своей могилы прогуляться по церковному погосту». И в самом деле, когда я подошел к кладбищу, то увидел

между могил что-то похожее на мертвеца в белом саване. Ах, как забилося мое сердце от страха и удовольствия! Каким приятным холодом обдало меня с головы до ног, как подкосились подо мною колени! И теперь вспомнить не могу без восторга об этой ужасной и восхитительной минуте. Крестясь и творя молитву, я пустился бежать домой, бросился на мою постель и всю ночь то бредил, как в горячке, то дрожал, как в лихорадке. «Итак, – думал я, задыхаясь от радости, – этот безвестный мир существует в самом деле; мертвецы бродят по ночам около могил; души усопших посещают землю, и все то, что господа педанты называют суеверием, обманом, белой горячкою, есть истина». И что ж, любезные читатели, как вы думаете, чем все это кончилось? На другой день я стал рассказывать о сем приключении бурмистру моему Федоту; этот негодяй засмеялся и сказал мне:

– Вы напрасно изволили перепугаться, сударь, ведь это шатался по кладбищу староста Тихон, он болен горячкою и прошлую ночь выбежал из избы в то время, как все спали.

– Как! – вскричал я. – Так это был не мерт-

вещ?

– И, батюшка барин, – отвечал Федот, скривя свою безобразную харю, – какие нынче мертвецы! Ведь в старину народ был глуп: всему верили, а теперь и малого ребенка не испугаешь этими бабьими сказками.

«Бабьими сказками!!» Вся кровь моя взволновалась, я затопал ногами, закричал – и если б этот вольнодумец Федот не ушел из моего кабинета, то непременно вцепился бы ему в бороду. Да и как было не взбеситься? Подумаешь, господи боже мой! Добро бы в Петербурге или в Москве, а то и в деревнях уж стали умничать!

После всего сказанного мною читатель может себе представить, желал ли я познакомиться с Иваном Алексеевичем Асановым; но никто, даже сам капитан-исправник, не брался привезти меня к нему в деревню, и я начал терять уж всю надежду, как вдруг одним утром, проходя базарную площадь, увидел, что кто-то едет в дорожной коляске, глядь поближе – старинный мой приятель и сослуживец, Заруцкий. Мы вскрикнули оба в один го-

лос, экипаж остановился, Заруцкий из него выскочил, и пошли расспросы:

– Откуда бог несет?

– В деревню, к дяде. А ты как здесь?

– По делам.

– Поедем вместе со мною. Я познакомлю тебя с дядюшкою, он старик предобрый.

– Нет, милый, не могу; мне надобно много еще хлопотать по моему делу.

– Поедем, братец, ведь это близехонько, верстах в двадцати отсюда, на Хопре...

– Верстах в двадцати!.. На Хопре?.. А как зовут твоего дядю?

– Иваном Алексеевичем...

– Асановым?

– Да.

– О! Если так... едем, мой друг!

– Ты знаком с ним?

– Нет, но я так много о нем наслышался...

Подожди! Я сейчас заверну домой, возьму с собой узелок, прибегу назад, и катаем!

Как сказано, так и сделано – через четверть часа я сидел уж подле Заруцкого в венской его коляске, которая, покачиваясь на гибких рессорах, понеслась, как из лука стре-

ла, по кочкам и колеям проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. Вокруг нас виды были довольно приятные: с левой стороны расстилались золотистые поля, на которых кое-где разбросаны были запоздалые копны сжатого хлеба; с правой тянулся густой лес, и от времени до времени вдали, сквозь широкие просеки, светлелись голубоватые воды живописного Хопра. Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое житье-бытье, про сельские хлопоты, хозяйство и, наконец, про пламенную любовь свою к какой-то деревенской соседке, молодой вдовушке, «которая, – говорил мой приятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку, – поклялась уморить меня с тоски и до тех пор не давать решительного ответа, пока она не износит полдюжины черных платьев из какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой год не могут изнашиваться, и, верно, в огне не горят и в воде не тонут. Чтоб поразмыкать

мое горе, – продолжал Заруцкий, – я вздумал съездить недельки на две погостить у моего дяди и очень рад, что встретился с тобою».

– Да рад ли будет этому твой дядя? – прервал я. – Мне весьма приятно с ним познакомиться, но, говорят, он такой нелюдим...

– Да, он неохотно заводит новые знакомства, а особенно с нашими уездными дворянами. Они такие чопорные, считаются визитами, а он человек старый, любит покой и больно тяжел на подъем. Ты – дело другое, ты человек заезжий, а сверх того – старинный приятель и сослуживец его племянника, которого он любит, как сына родного; да, правда, и я его очень люблю.

– Скажи, пожалуйста, что ему за радость жить в этой глуши?

– У него есть на то свои причины.

– А например?

– Это целый роман, мой друг. Прежде всего надобно тебе сказать, что во время оно дядя мой, Иван Алексеевич Асанов, был человек бедный; он не мог даже и мечтать о наследстве, которое досталось ему после; и в самом деле, мог ли он думать, что четверо двоюрод-

ных братьев, два племянника и три племянницы умрут в одну неделю от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву[5]. Деревня, в которой живет теперь Иван Алексеевич, принадлежала местному помещику Глинскому, скупому, злому и, если верить изустным преданиям, настоящему разбойнику. У этого Глинского была дочь, прекрасная лицом, еще прекраснее душою. Не знаю, где и когда мой дядя с нею встретился, как познакомился с ее отцом, только дело в том, что он влюбился по уши в Софью Павловну – так звали дочь Глинского, – а на беду, и она его полюбила. Однажды на отъезде поле, рыская вместе с отцом своей любезной за зайцами, дядя мой решился открыть ему свою душу. Глинский взбеленился, осыпал его ругательствами, назвал нищим и объявил, что если он когда-нибудь близко подъедет к его деревне, то он выпустит на него целую стаю гончих и затравит, как красного зверя. Дядя мой уехал в армию, дрался так, что Суворов прозвал его чудо-богатырем, и, проколотый навывлет штыком в сражении с Огинским при Столовичах[6], на диво всей армии, остался жив, выздоровел,

узнал, что ему упало с неба богатое наследство, поскакал в Сердобск; но было уже поздно. Софья Павловна, зачахнув с горя, давно покоилась на деревенском кладбище, а отец ее, спустя два месяца после ее смерти, сломил себе шею, травя волка. Дядя мой вышел в отставку, поклялся никогда не жениться, добился наконец, что ему продали эту деревню, и поселился в доме, где некогда жила его любезная. «Господь не допустил меня быть мужем Софьи Павловны. Его святая воля! Но если мне не суждено было жить с нею на земле, так по крайней мере в земле-то я буду лежать вместе с нею». Так говорит всегда мой дядя, и вот уже скоро десять лет, как он живет безвыездно в этой деревне.

– О! Да твой дядя человек преинтересный! – сказал я. – Знаешь ли, мой друг, что если б он был помоложе, то я бы не советовал тебе рассказывать всем эту историю... в ней столько романического, что долго ли до беды: как раз найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наследник...

– Да, мой друг! Но дай бог, чтоб я во всю жизнь мою не вступал в это наследство! И

один раз похоронить отца родного тяжело, а дважды на веку остаться сиротою – не приведи господи! Но вот, кажется... так точно! Версты три, не больше осталось. Видишь ли там вдали дубовую рощу?.. За нею тотчас господская усадьба; а вон выглядывает из-за вершин деревьев золоченый крест: это каменная церковь, построенная моим дядей над могилою Софьи Павловны.

– Ах, боже мой! – прервал я, поглядев с ужасом вперед. – Неужели мы спустимся в эту пропасть?

– Постой! – закричал мой приятель. – В самом деле, лучше мы выйдем.

Коляска остановилась, и, пока ямщик с слугою Заруцкого тормозили задние колеса, мы отправились потихоньку вперед. Поросший частым кустарником овраг, через который шла дорога, действительно походил на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Чем ниже мы сходили, тем выше и утесистое становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопроеинами дорога, идя сначала прямо, вдруг круто поворачивая налево и, огибая неболь-

шой бугор, опускалась к мосту, перекинутому через пропасть. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полугоныку стала съезжать вниз, висела над нашими головами.

– Знаешь ли, мой друг, – сказал Заруцкий, указывая на бугор, – что этот холм хотя и не насыпной, а может назваться курганом: он весь составлен из могил.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышениями, и кой-где видны еще были полусгнившие деревянные кресты.

– Неужели это деревенское кладбище твоего дяди? – спросил я.

– Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками.

– Разбойниками? – повторил я, невольно поглядев вокруг себя.

– Не пугайся, – продолжал мой приятель, – это было уже давно. В наше время и слуху нет о разбойниках, точно так же как о ведьмах, колдунах, мертвецах, домовых и всей этой адской сволочи, от которой в старину нашим предкам житья не было.

– Ну, это еще бог знает, – сказал я сквозь зу-

бы, – на разбойников есть земская полиция...

– А на колдунов и мертвецов, – возразил мой приятель, – есть управа, которую зовут просвещением.

– Ох уж мне это просвещение! – прервал я почти с досадою. – Но дело не о том: как могли здесь придерживаться разбойники? Разве тут была когда-нибудь большая дорога? Ведь по проселочным грабить некого.

– Большая дорога отсюда в двух верстах. И вот что рассказывают старики об этом овраге: дедушка бывшего помещика деревни, в которую мы едем, держал у себя в доме разбойничью пристань. Это бы еще ничего, было время, что разбои, а особливо в наших пограничных губерниях, назывались удальством и молодечеством; но вот что было худо в дедушке покойного Глинского: говорят, что он был в дружбе с самим сатаною и, как знаменитый польский пан Твардовский, закабалил ему на веки веков свою душу. Разумеется, ему не было никакой нужды в деньгах: черт помогал ему находить клады и даже иногда шуточки ради превращал для него кружки из репы и моркови в серебряные рублики и золотые

ефимки[7]; но он любил для забавы, как на охоту, ездить на грабеж. Спуску никому не было: дворян и богатых купцов он залучал насильно к себе в гости, поил, кормил по целым суткам, а там бог весть что с ними было; только говорят, что кто из этих невольных гостей проезжал в одну околицу, тот уж никогда не выезжал в другую. С простыми людьми не церемонились: их резали на большой дороге и бросали в этот овраг. Впоследствии добрые люди, собрав их кости, похоронили на этом бугре. А так как прошел слух, будто бы каждый год ночью, на родительскую субботу, все эти покойники встают из могил и справляют сами по себе поминки, то это место, которое слыло прежде *Волчьим оврагом*, прозвано теперь *Чертовым Беремищем*. Все это я рассказал тебе кой-как, а надобно послушать моего дядюшку: вот уж если он примется рассказывать эти народные сказки и предания, так есть чего послушать.

– Сказки! – повторил я с нетерпением. – Почему же сказки? Ох вы умницы! Слушай вас, так ничему верить не станешь.

– Да неужели ты в самом деле веришь

этим бредням?

– Эх, братец! Да что мы знаем! Мы не видим далее своего носа, целый век играем в жмурки, а говорим утвердительно: «Это вздор! Это быть не может! Это противно здравому смыслу!» А что такое наш здравый смысл! Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после нам еще сделалось темнее. Нетрудно говорить: «Я не верю этому!» А прошу мне доказать, почему и я не должен верить тому, что кажется тебе невероятным? Нет, Заруцкий, я еще не знаю, кто более ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

– Знаешь ли, мой друг, – прервал Заруцкий, – что ты непременно понравишься моему дяде. Он так же, как ты, готов рассердиться, если его станут уверять, что души умерших не являются никогда живым, и расскажет тебе сейчас двадцать случаев, доказывающих противное. Но вот уж коляска наша

въехала на гору. Не знаю, как ты, а я очень устал. Сядем!

Когда мы проехали дубовую рощу, то каменные палаты Ивана Алексеевича Асанова открылись нам во всем своем угрюмом величии. Они стояли посреди большого двора, заросшего крапивою. Главный их фасад, в тридцать узких окон, с широкими простенками, тянулся поперек всего двора; парадный подъезд с тяжелым навесом на четырех деревянных столбах был пристроен к середине дома, позади которого большой плодовый сад спускался по отлогому скату до самого Хопра; против самых ворот на широком лугу стояла высокая каланча с выкинутым флагом и огромными часами.

– Ого! – сказал Заруцкий, когда мы под громкий лай полдюжины датских и легавых собак въехали на двор. – Да у дядюшки, видно, гости: дормез[8], бричка и, кажется – так точно! – щегольская тележка сердобского исправника. Тем лучше – нам будет весело.

Двое дюжих лакеев, не роскошно, но опрятно одетых, приняли нас из коляски. Мы вошли в обширные сени. Налево одни двери

вели в переднюю, направо, другими, вероятно, входили некогда в девичью, но они были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моих читателей заметить это обстоятельство.) Пройдя бильярдную, столовую и две гостиные комнаты, из коих одна была оклеена китайскими обоями, мы встретили в дверях расписанной боскетом диванной[9] хозяина дома.

– Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой друг! – закричал он, обнимая несколько раз сряду своего племянника. – Спасибо, что навещил старика, а я так было по тебе стосковался, что хоть нарочного отправлять.

– Рекомендую вам, дядюшка, – сказал Заруцкий, подводя меня к Ивану Алексеевичу, – искреннего приятеля. Мы с ним давно уже не видались, хотя были некогда неразлучными товарищами и в Москве в пансионе, и в Петербурге в казармах, и в танцевальном классе Меранвиля, и в походном балагане под неприятелем – словом, везде. Я давно с ним не видался и, повстречав его в Сердобске, решил захватить с собою и привезти к вам.

– Милости просим! – сказал Иван Алексее-

вич, протянув ласково ко мне свою руку. — Кто с моим Алексеем побратался на ратном поле, тот всегда будет у меня дорогим гостем. Милости просим!

Не помню, что я отвечал хозяину, а кажется, ничего. Я так был поражен его почтенною наружностью, что позабыл совершенно все употребляемые в сих случаях условные фразы и вежливые уверения, в которых почти всегда ни на волос нет правды. Представьте себе человека высокого роста, лет шестидесяти пяти, в форменном военном сюртуке времен Екатерины Второй; вообразите румяное лицо и черные с проседью волосы, высокий, покрытый морщинами лоб и ясные, исполненные веселости и радушия глаза, величественную осанку лихого полкового командира, которого сам Суворов прозвал чудо-богатырем, и кроткую простодушную улыбку, не сходящую с приветливых уст, осененных парюю густых усов, о которых, вероятно, в старину не раз толковали меж собой милостивые полячки. В жизнь мою я не видывал старика с такой привлекательной наружностью и, признаюсь, нимало бы не удивился, если б ка-

кая-нибудь красавица призадумалась, когда ей дали на выбор или быть его женою, или назвать его своим отцом.

– Не угодно ли ко мне в кабинет? – сказал он. – Ты найдешь там старых знакомых, Алексей. Да прошу покорно не отставать, – продолжал он, обращаясь ко мне, – а не то как раз заплутаетесь. У меня в саду нет лабиринта, но зато в доме, как в траншеях, такие зигзаги и апроши[10], что и толку не доберешься.

В самом деле, мы выходили из комнаты в комнату, прошли двумя темными коридорами, то подымались несколько ступеней кверху, то спускались вниз и наконец, пройдя мимо железных дверей кладовой, помещенной в круглой башне, которая, как говорится, ни к селу ни к городу была прилеплена к левому углу дома, вошли еще в один коридор, в конце которого слышны были голоса разговаривающих.

– Тут была в старину девичья, – сказал Иван Алексеевич, подходя к полурастворенным дверям, – но так как я человек холостой, то и рассудил закласть в ней одни двери и сделать из нее мой кабинет: зимою эта ком-

ната всех теплее и суше. Милости просим!

Судя по величине и первобытному значению покоя, в который мы вошли, нетрудно было отгадать, что у прежнего помещика была большая дворня и что, вероятно, в ней женских душ было более мужских. Четыре окна, обращенные на задний двор, занимали одну из стен ее; на остальных были нарисованы сцены из жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянув на нее, я невольно вспомнил *маляра Ефрема*, о котором бессмертный певец Ермака[11] сказал когда-то, что он имел чудесный дар и что кисть его

*...всегда над смертными играла:
Архипа Сидором, Козьму Лукой
писала.*

На одной стене Суворов представлен был в лесу спящим на соломе, посреди казачьих биваков; у него вовсе не было шеи, но зато такие длинные ноги, что если бы он проснулся и встал, то, конечно, мог бы облокотиться на вершину высокого дуба, под тенью которого покоился. На противоположной стене тот же

самый Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка[12]. Он стоял, вытянувшись, как струнка, и оборотясь лицом к толпе поляков, с преогромными усами. Несколько французских офицеров, поджарых и тщедушных, изображены были с поникнутыми главами, а перед всей толпою комендант замка, щеголеватый Шуазье, распудренный и выгнутый зелом, отдавал победителю свою шпагу, с таким же точно сентиментальным видом, с каким театральный пастушок, став в четвертую позицию, подает букет розанов своей размалеванной пастушке. На третьей стене изображено было взятие Измаила [13]; разумеется, все убитые были турки, а поле сражения усыпано чалмами, между которых не валялась ни одна гренадерская шапка. В том месте, где была заделана дверь, ведущая в сени, стоял шкал с библиотекою хозяина. В простенках меж окнами висели турецкие пистолеты, ятаганы, польские сабли и прочие домашние трофеи военных подвигов Ивана Алексеевича Асанова. В одном углу стоял пук черешневых чубуков с глиняными раззолоченными трубками и янтарными мунд-

штуками; в другом, по обеим сторонам широкого камина, висело несколько охотничьих одиноких[14] и двуствольных ружей, ягдташей, пороховых рожков и патронниц, а кругом всех стен устроены были спокойные диваны, обитые шерстяной турецкой материею.

Когда мы вошли в кабинет, четверо гостей, в числе которых был и сердобский исправник, трудились в поте лица и наблюдая торжественное молчание вокруг стола, на котором поставлен был сытный завтрак. После первых приветствий и дружеских восклицаний Заруцкий стал знакомить меня с гостями своего дяди. Первый, к которому он меня подвел, Антон Федорович Кольчугин, показался мне с первого взгляда стариком лет семидесяти; но когда я поразглядел его хорошенько, то уверился, что, несмотря на впалые его щеки, выдавшийся вперед подбородок и седые, как снег, усы, он моложе хозяина. Прагский золотой крест в петлице[15] ясно доказывал, что он был некогда если не сослуживцем, то по крайней мере современником Ивана Алексеевича. Второй, Прохор Кондратьич Черемухин, человек лет сорока пяти, толстый, рябой, с

широкими светло-русыми бакенбардами, с маленькими блестящими глазами и с такой смеющейся и веселой физиономиею, что, глядя на него, и плакса Гераклит[16] (если он только существовал в самом деле, а не был выдуман для антитезы и рифмы к Демокриту) едва ли бы удержался от смеха. С третьим гостем, исправником сердобским, я был уже знаком, но его не знают мои читатели, а посему я не излишним полагаю сказать и о нем не несколько слов. Он был малый образованный, служил штаб-ротмистром в одном армейском гусарском полку, вышел за ранами в отставку и, выбранный дворянами, из отличного эскадронного командира сделался, как говорится, лихим капитан-исправником. Все помещики его любили, казенные крестьяне молились за него богу, а воры, плуты и пьяницы боялись как огня. Говорят (я повторяю то, что слышал), что будто бы он не брал даром и клока сена и не съедал курицы у мужика, не заплатя за нее по справочной цене, что заседатели его не таскали за бороду для своей забавы выборных и даже канцелярские служители нижнеземского суда пили на следствиях

вино только тогда, когда им подносили его добровольно.

Познакомив моих читателей с обществом, в котором я провел несколько дней самым приятным образом, я должен сказать, что в первый день моего приезда в деревню Ивана Алексеевича погода начала портиться; к вечеру небеса нахмурились и полился не летний, крупный и спорый, дождь, но мелкий и дробный; он вскоре превратился в бесконечную осеннюю изморось, от которой и вас, любезные читатели, подчас брала тоска, а особенно если она захватывала вас среди полей, когда желтый лист валится с деревьев, а порывистый ветер гудит по лесу и завывает, как зловещий филин, в трубах вашего деревенского дома. Делать было нечего: нельзя было ни ходить с ружьем на охоту, ни кататься в лодке по Хопру; конечно, можно было ездить по *чернотопу* за зайцами; но для этого надобно было страстно любить псовую охоту, а из всего нашего общества один Заруцкий ездил иногда с борзыми, но и тот любил охотиться или по перевозимью в хорошую порошу, или в ясный осенний день, в *узерку*, а ездить с утра

до вечера с гончими в дождь и слякоть для того, чтобы затравить какого-нибудь несчастного *беляка*, казалось ему вовсе не забавным. Впрочем, нельзя сказать, чтоб мы были без всякого занятия: днем мы пили чай, завтракали, обедали, играли на бильярде и читали журналы. Иван Алексеевич выписывал не только «Петербургские ведомости»[17], но почти все периодические издания, которые в то время выходили в обеих столицах. Разумеется, мы охотнее всего читали московский «Вестник»[18], прославленный первым своим издателем, но от нечего делать перелистывали и «Московского курьера»[19], зевали над петербургским «Любителем словесности»[20], трогались чувствительным слогом «Московского зрителя»[21] и удивлялись разнообразию «Собеседника»[22], который только что появился в свет с затейливым названием «Повествователя мыслей в вечернее время упражняющихся в своем кабинете писателей, рассказывающего повести, анекдоты, стихотворения, а *временем и критику*». Часу в седьмом после обеда мы обыкновенно обирались в кабинет к хозяину, садились кругом пылаю-

щего камина и вплоть до самого ужина проводили время, разговаривая меж собою. Так как Иван Алексеевич почти всегда управлял общим разговором, то предметом одного были по большей части рассказы о необыкновенных случаях в жизни, о привидениях, дьявольском наваждении – словом, обо всем том, что не могло быть истолковано естественным образом. Внимание, с которым слушали все эти рассказы, ясно доказывало, что никто не сомневался в их истине. Один только Заруцкий улыбался иногда вовсе невпопад; но никто не замечал этого, и даже весельчак Черемухин, хотя потихоньку с ним перемигивался и шептал ему что-то на ухо, вслух божился, что верит без разбору всем страшным историям, потому, дескать, что его самого однажды давил целую ночь домовою.

Рассказы и повести, которые я слышал в последний вечер, проведенный мною у Ивана Алексеевича, показались мне столь любопытными, что я с величайшей точностью записал их в моем дорожном журнале. Боясь прослыть суевером, невеждою и человеком отсталым, я до сих пор не смог напечатать моих

записок; но когда увидел, что с не которого времени истории о колдунах и похождениях мертвецов сделались любимым чтением нашей публики, то решился наконец выдать их в свет. Не смею обещать моим читателям, что они прочтут их с удовольствием или хотя бы без скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моих рассказов. Да, почтенные читатели! Решительно повторяю, что есть *русские истории*, которые несравненно более походят на сказки, чем эти были и предания, основанные на верных не подлежащих никакому сомнению *фактах*.

Ветер бушевал по лесу, мелкий дождь, как сквозь частое сито, лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланче не пробило и шести часов, а на дворе уже было так темно, что хоть глаз выколи. Мы все собрались в кабинет. Хозяин, Кольчугин, исправник и я сидели вокруг пылающего камелька, а Заруцкий и Черемухин расположились преспокойно на широком диване и, куря молча свои трубки, наслаждались в полном смысле сим моральным и физическим бездействием, которое итальянцы называют: *far niente*[23].

– Ну, погода! – сказал наконец Кольчугин, прислушиваясь к вою ветра. – Хоть кого тоска возьмет.

– И, полно, братец! – прервал Иван Алексеевич. – Да это– то и весело. Что может быть приятнее, как сидеть в ненастный осенний вечер с хорошими приятелями против камелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенные окна, думать: Вой себе, ветер, лейся, дождь! Бушуй, непогода! А мне и горюшки мало! Что и говорить! Умен тот был, кто первый вздумал строить дома.

– И делать в них камины, – прибавил исправник, подвигаясь к камельку.

– Не равен дом, господа, – сказал Кольчугин, вытряхивая свою пенковую трубку, – и не в такую погоду не усидишь в ином доме. Я сам однажды в сильную грозу и проливной дождик решил лучше провести ночь под открытым небом, чем в комнате, в которой было так же тепло и просторно, как в этом покое.

– А что? – спросил исправник. – Видно, хозева были тебе не очень рады?

– Ну нет! Один хозяин обошелся со мною довольно ласково, да от другого-то мне туго пришлось; хоть и он также хотел меня угощать, только угощенье-то его было мне вовсе не по сердцу!

– Вот что! – сказал Иван Алексеевич. – Да это, видно, брат, целая история.

– Да, любезный, такая история, – продолжал Кольчугин, набивая снова свою трубку, – что у меня и теперь, лишь только вспомню об этом, так волос дыбом и становится.

– Что вы это говорите! – вскричал Заруцкий. – Антон Федорович! Помилуйте! Вы человек военный, служили с Суворовым, а признаетесь, что чего-то струсили.

– Да, батюшка, не прогневайтесь! Посмотрели бы мы вашей удали. Нет, Алексей Михайлович! Ведь это нечто другое; поставь меня хоть теперь против неприятельской батареи, видит бог, не струшу! А вот как где замешается нечистая сила, так уж тут, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь: сатана не пушка, на него не полезешь.

– Ого! – сказал Черемухин, перемигнувшись с Заруцким. – Так в вашей истории чер-

ти водятся?

– Смейтесь, батюшка, смейтесь! – продолжал Кольчугой. – Я знаю, что человек вы начитанный, ничему не верите...

– Кто? Я? – прервал Черемухин. – Что вы, батюшка Литой Федорович, перекреститесь!

– Добро, добро! Прикидывайтесь! Вот мы так люди неученые; чему верили отцы наши, деды, тому и мы верим.

– Да как же, братец, – сказал хозяин, – ты мне никогда об этом не рассказывал?

– А так, к слову не пришлось. Пожалуй, теперь расскажу. Дай-ка, батюшка Иван Алексеевич, огоньку!.. Спасибо, любезный!

Все придвинулись поближе к рассказчику, и даже Заруцкий с Черемухиным встали с дивана и уселись подле на стульях. Антон Федорович Кольчугин раскурил трубку, затянулся, выпустил из-под своих седых усов целую тучу табачного дыму и начал:

ПАН ТВАРДОВСКИЙ

В рассказе использован материал распространенной в Польше легенды о гордом шляхтиче Твардовском, занявшемся чернокнижием и ради удовлетворения своих прхотей продавшим душу дьяволу. В польской классической литературе о нем писали А. Мицкевич и И. Крашевский.

– Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка[24], который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван, – промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета. – Ну, да дело не о том. Хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уж начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял с своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Тиницем и Ландскроном[25]. Астраханский гренадерский полк, в котором я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский

хлебосол. Почти все штаб- и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были деньги, тот шел к нему прямо, как в Опекунский совет. Но вот что было худо: наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда, да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси!

– Так что ж, – прервал Заруцкий, – тем хуже для мужа, а офицерам-то какое до этого дело?

– Какое дело! – повторил Кольчугин. – Эх, сударь! Время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший баталионный командир; а у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница, а если она бойка да хоть мало-мальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. Тот-то и есть, батюшка! Нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная... а удаль-то какая... голосина какой!.. Ах ты господи боже мой!.. Что и говорить: го-

род-барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала: мы в поход – и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове и хоть могла часто видаться с своим мужем, но решилась наконец совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу – да ведь делать-то нечего: хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где, бывало, мы все бражничали с нашим командиром, сделали спальню и поставили широкую кровать с розовым атласным пологом. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал барынь, а особенно когда они жили в лагере и мешались не в свои дела, да он был еще тогда только что генерал-майор, связей никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии, и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, нахмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу

из лагеря. И теперь без смеха вспомнить не могу. Экой проказник, подумаешь! Умен был, дай бог ему царство небесное! Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу; по второй – строиться перед лагерем; по третьей – снимать палатки, а по четвертой – выступать. Он не любил, чтоб солдаты у него дремали, и потому частехонько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками, пошутит с офицерами, побалагурит с солдатами, да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясная, вдруг однажды после знойного дня, ночью, часу в одиннадцатом, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром и пошла такая потеха, что мы света божьего невзвидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома и, чтоб не так была видна ей молния, забралась на постель и задернулась пологом, однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтоб идти домой, – глядь!..

эге! сигнальная ракета. Я назад, докладываю полковнику. «Как? – закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась в мои слова. – Да что, ваш полоумный генерал вовсе, что ль, рехнулся? В такую бурю тревожить весь лагерь!» – «Успокойся, Варенька, – сказал полковник, – ведь это фальшивая тревога, может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь, – прибавил он шепотом, обращаясь ко мне, – кто его знает! Да чтоб люди были готовы». Я побежал исполнять его приказания и вот гляжу, минут через десять, зашипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут пять. Чу! Третья! Вот те раз... Суворов шутить любил, да только не службою, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипело все по лагерю, в полмига веревки прочь, колья вон, и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге к Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся видеть такую диковинку.

Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время... вспомнить не могу!.. То-то было смеху-то!.. Представьте себе, ночью в чистом поле, под открытым небом – двуспальная кровать с розовым атласным пологом. А дождь-то, дождь – так ливмя и льет! Ну! Присмирела наша строгая командирша! Господи боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль девалась! Вот отвезли ее кой-как назад в Краков, а корпус, отойдя версты две, остановился опять лагерем; и я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как взбеленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал к ней своего адъютанта узнать о здоровье.

– Ай да батюшка Александр Васильевич! – вскричал с громким хохотом хозяин. – Что и говорить, молодец!

– Да, это очень забавно, – сказал Черемухин. – Только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане...

– А жена-то полковника? – прервал Заруцкий.

– Да это другое дело; я говорю о нечистой силе.

– Пойдите, батюшка, – продолжал Кольчугин, – дойдет и до этого дело. Дня через два, как полковница совсем уж обсохла, пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в Кракове остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вестимо дело, кому хлопотать, как не адъютанту; вот я и отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ландскрону и Тиницу. Выбрать было нелегко: наша причудливая командирша хотела и большой дом, и обширный сад, и чтоб никого не было живущих, и то и ее. Целый день я проездил по дачам; измучил своего куцего коня, да и горский жеребец под казаком, который ездил за мною, насилу уж ноги волочил. Мы на одной мызе позавтракали, на другой пообедали, и когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проехали верст пять. На дворе становилось все темнее и темнее, вдали сверкала молния, а над нами

так затучило, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащились вперед, но вдруг дорога по лесу как будто б сдвинулась, начало нас похлестывать сучьями, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело что спотыкались. «Ох, плохо, ваше благородие, – пробормотал мой казак, – никак, мы заплутались».

– Видно, что так, Ермилов, – сказал я, приподымая на поводу моего куцего, который в третий уже раз падал на оба колена.

– Вот и дождик накрапывает, – продолжал казак, – кабы бог помог нам до грозы наткнуться на какое-нибудь жильё... Постойте-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака.

В самом деле, недалеко от нас послышался громкий лай; мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось и мелькал огонек.

– Кажись, это панская мыза, – прошептал Ермилов, – ну, слава тебе господи! Нашли приют.

– Постой-ка, братец, – сказал я, – чтоб нам не заплатить дорого за ночлег: ведь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польские-то паны не больно нас жалуют, хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье... долго ли до греха! Уходят нас, да и концы в воду.

– А что? Чего доброго, ваше благородие, – прервал казак, почесывая в голове, – ведь нас только двое... Да куда же нам деваться?

– Погоди, Ермилов, – сказал я, – надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что прислан квартирьером занять эту мызу для полковой квартиры и что завтра чем свет придет сюда первая рота нашего полка.

– И впрямь, ваше благородие, – подхватил казак, – пугнемте-ка их постоем, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали и что завтра нагрянет к ним целая рота гренадер, так уж, верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть.

Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, позади которого, среди широкого двора, стоял каменный дом в два

этажа, с круглыми башнями по углам. В одном углу светился огонек; ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме, все было тихо как в глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. Ворота были не заперты, мы подъехали к дому, я слез с коня, вошел в сени... никого. Прямо передо мной лестница вверх. Я начал по ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что, казалось, можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на лестницу, я приостановился – все тихо. «Кой черт, – подумал я, – неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки?» Проведя рукою по стене, я ощупал дверь, толкнул, она растворилась; вхожу – опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. «Вот что! Эта часть дома не достроена, но где же светился огонек? Кажется, левее». Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены – еще двери; отворил. Ну! Попал наконец на жилые покои! В небольшой комнате, слабо освещенной сальным огарком, двое слуг играли в карты, а третий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внят-

ный говор, как будто бы от многих людей, с жаром между собой разговаривающих. Но лишь только один из игравших в карты слуг, увидя меня, ушел во внутренние комнаты, то вдруг все утихло.

– Как зовут эту мызу? – спросил я у слуги, который остался в передней.

– Эту мызу? – сказал он, глядя на меня так нахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос.

– Ее зовут Бьялый Фолварк, – отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза.

– А как зовут хозяина?.. Да отвечай же, животное, когда тебя спрашивают! – продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе.

Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал:

– Моего пана зовут Ян Дубицкий... Гей, Казимир!

– Ну, так и есть! – сказал я. – Насилу же мы отыскали вашу мызу. Веди меня к хозяину.

– Почекай[26], пан! Ген, Казимир!

Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и, увидя перед собой русского офице-

ра, закричал: «Что то есть?.. Москаль!»

– Сойди-ка, брат, вниз, – сказал я, стараясь казаться спокойным, – там стоит казак...

– Казак, – вскричал полусонный лакей, – один казак?

– Покамест один, а скоро будет много. Возьми у него лошадей, отведи их в конюшню, а ему вели взойти сюда.

Слуга не торопился исполнить мое приказание; он поглядывал как шальной то на меня, то на своего товарища, а не трогался с места.

– Ну, что ж ты глаза-то выпучил, дурень, – закричал я повелительным голосом, – иль не слышишь? Пошел! Да смотри, чтоб лошади были сыты!

Слуга, пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который ходил обо мне докладывать, растворив дверь, пригласил меня в гостиную. Пройдя не большую столовую, я вошел в комнату, довольно опрятно убранную и освещенную двумя восковыми свечами. В одном углу приставлено было к стене несколько сабель, и с полдюжины *конфедераток*[27] валялось по стульям и

окнам комнаты. Хозяин, человек лет пятидесяти, с предлинными усами, с подбритой головой, в синем кунтуше[28] и желтых сапожках, принял меня со всею важностию польского магната. Развалясь небрежно на канаве [29], он едва кивнул мне головою и показал молча на табуретку, которая стояла от него шагах в пяти. Ах, черт возьми! Вся кровь во мне закипела; я позабыл, что положение мое было вовсе не завидное; в эту минуту я думал только о том, что имею честь носить русский мундир и служить в Астраханском гренадерском полку капитаном. Не отвечая на его обидный поклон, я оттолкнул ногою табуретку, уселся подле него на канаве и, вытащив из кармана кисет с табаком, принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращение смутило несколько хозяина; помолчав несколько времени, он спросил довольно вежливо, откуда я еду.

– Из лагеря, – отвечал я, продолжая набивать мою трубку.

– И верно, пан... пан поручик...

– Капитан, – прервал я, кинув гордый

взгляд на хозяина.

– Препрашу!..[30] Верно, пан капитан заплутался в этом лесу?

– Нет! Я прямо сюда ехал.

– Сюда? – повторил хозяин с приметным беспокойством.

– Да, – продолжал я, раскуривая спокойно мою трубку, – ведь эту мызу зовут Бьялый Фолварк?

– Так.

– А вас паном Дубицким.

– Так есть.

– Я прислан сюда квартирьером; у вас назначена полковая квартира Астраханского гренадерского полка.

– Полковая квартира! – вскричал пан, спрыгнув с канаве.

– Да, завтра чем свет, а может быть, и сегодня ночью придет сюда первая рота нашего полка. Да садитесь, пан Дубицкий!.. Прошу покорно!

Тут взглянул я на моего хозяина: вытянувшись в струнку, он стоял передо мной как лист перед травой, и на лице его происходили такие эволюции, что я чуть было не лоп-

нул со смеху: огромные усы шевелились, глаза прыгали из стороны в сторону, а хохол на голове стоял почти дыбом.

– Да взмилуйся, пан капитан, – завопил он наконец, – куда девать мне целую роту?

– Найдем для всех место.

– Но рассудите сами...

– Эх, пан Дубицкий! – прервал я, развязывая шарф и снимая мою саблю. – Военные люди не рассуждают; делай то, что приказано, вот и все тут.

– Иезус Мария! – продолжал хозяин. – Поместить целую роту!.. Да яким же способом?.. Я сам с больной моей женой живу только в трех комнатах.

– Полно, так ли? – сказал я. – Дом-то, кажется, у вас велик.

– Як пана бога кохам![31] Ну мало ли мыз и лучше и просторнее моей? И кому в голову пришло...

– А вот, – прервал я, – пан Дубицкий, как мы выпьем с вами по рюмке венгерского, так я скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу.

– За-раз, пан, за-раз![32] Эй, хлопец!

– Не беспокойтесь! – сказал я, подходя к столу, на котором стояли две бутылки вина и несколько порожних и налитых рюмок. – С нас будет и этого. До вас – пана!

Хозяин приметным образом смешался, и когда вошел слуга, то он, пошептав ему что-то на ухо, сказал, обращаясь ко мне:

– В самом деле, а я было вовсе забыл, что пробовал сейчас с моим экономом это вино, которое вчера купил в Кракове. Ну, что вы о нем скажете?

– Славное вино! Настоящее венгерское! Ну, пан Дубицкий, – продолжал я, выпив еще рюмку, – теперь я вам скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу. Полковая квартира простоит у вас день, много два; но наша полковница останется у вас жить, и надолго ли – этого сказать вам не могу. Ей в Кракове так много наговорили хорошего об этой мызе, что она хочет непременно у вас погостить.

– Барзо дзинкую за гонор![33] – сказал хозяин, – но я желал бы знать, кто расхвалил вашей полковнице Бьялый Фолварк? Уж верно, злодеи мои: пан Маршалок, пан Замборский, пан Кланович... Нех их дьябли везмо![34]

– А что ж? Мне кажется, они говорили правду.

– Да будь же ласков! Взмилуйся, пан капитан! – вскричал отчаянным голосом хозяин. – Где будет жить ваша полковница? Во всем верхнем этаже отделаны только три комнаты, в которых я сам кое-как помещаюсь. Конечно, внизу покоев довольно, но я не знаю, можно ли будет и вам в них ночевать.

– А почему же нет?

– Эх, мось пане добродзею![35] То карабоска есть; дали бук, так! Я и сам, лишь только жене моей будет лучше, перееду в Краков, и, уж верно, этот дом никогда не будет достроен.

– Но отчего же? – спросил я с невольным любопытством.

– О, пан капитан! Вы человек военный, так, может статься, мне не поверите.

– Да что такое?

– Слыхали ли вы когда-нибудь о пане Твардовском?

– О пане Твардовском? – повторил я и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о

храбром витязе, Алеше Поповиче, где между прочим говорится и о польском колдуне пане Твардовском, с которым русский богатырь провозился целую ночь.

– А, знаю, знаю! – сказал я. – Этого пана Твердовского, или Твардовского, утащили черти?

– Не только утащили, – прервал хозяин, – а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого видны были кровавые пятна.

– Собаке собачья и смерть, – сказал я, – да что ж общего между вашим домом и этим проклятым колдуном?

– А вот что, мось пане добродзею, мой дом построен на самом том месте, где некогда стоял замок Твардовского.

– Неужели? – вскричал я, поглядев невольно вокруг себя.

– Дали бук, так! – продолжал хозяин. – А что всего хуже, так это то, что весь нижний этаж моего дома построен из развалин старого замка.

– Вот что, – прошептал я сквозь зубы, – да ведь, впрочем, – прибавил я, – это было уже

давно?

– Конечно, давно, пан капитан, да от этого мне не легче. Каждую пятницу около полуночи в нижнем этаже моего домика подымается такая возня, что стены трясутся...

– Каждую пятницу?

– Да. Говорят, что в этот самый день черти продернули пана Твардовского сквозь стену и утащили к себе в преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда целую ночь. Все окна осветятся, начнется ужасный вой, потом делается опять темно, а там снова разольется по всему нижнему этажу такой свет, что можно снаружи видеть все, что делается внутри.

– А что ж там делается? – спросил я, стараясь казаться равнодушным.

– Однажды только, – отвечал хозяин, – мой прежний экономер решил заглянуть туда с надворья, да, видно, увидел такие страсти, что у него язык отнялся, а когда он стал опять говорить, так ничего нельзя было понять из его слов.

– Отчего же?

– Оттого что он был в жестокой горячке.

– Ну, а когда выздоровел?

– Да он не выздоровел, а на третий день умер.

– Вот что! – повторил я опять сквозь зубы, и что-то похожее на лихорадочную дрожь пробежало по моим членам. – Но ведь вы говорите, – промолвил я, промолчав несколько времени, – что это бывает только по пятницам.

– Так, мось пане добродзею! Да ведь сегодня пятница!

– В самом деле!.. И у вас в верхнем этаже нет ни одной свободной комнаты!

– Дали бук, нет! Кроме спальни моей жены, этой гостиной, где живут ее резидентки, и столовой, где сплю я, нет ни одного жилого покоя. Но если, – прибавил с насмешливой улыбкой поляк, – пан капитан не боится...

Если я боюсь?.. Боюсь!.. И это говорит польский пан русскому офицеру!.. Ух, батюшки! Так меня варом и обдало! Мне, капитану Астраханского гренадерского полка, испугаться колдуна, и добро бы еще русского!.. Ах, черт возьми! Да если б сам сатана в польском кунтуше явился передо мною, так я и тогда бы скорее умер, чем на вершок от него попятил-

ся.

– Извините, пан Дубицкий, – сказал я, вставая, – я не боюсь ни пана Твардовского, ни пана черта, ни живых, ни мертвых и ночью сегодня в вашем нижнем этаже.

– Как угодно! По крайней мере, я вас предупредил, и если что-нибудь случится...

– Не беспокойтесь! И у меня, и у моего казака есть по паре пистолетов и по сабле, так живых мертвецов мы не боимся, а с нечистой силой справиться нетрудно. Не погневайтесь! Ведь мы не по-латыни читаем наши молитвы! Прикажите мне показать мою комнату.

– Зараз, пан! Да не угодно ли вам чего покушать?

– Благодарю! Я не ужинаю, а, если позволите, возьму с собою эту бутылку венгерского и разопью ее за упокой души вашего Твардовского, только не советую ему мешать мне спать: мы, русские, незваных гостей не любим.

Хозяин проводил меня до передней, в которой, к удивлению моему, я нашел казака в большом ладу с людьми Дубицкого: он потягивал с ними предружески горелку и, судя по

двум полуштофам, из которых один уж был пуст, а в другом осталось вино только на дюнышке, нетрудно было догадаться, что они порядком угостили Ермилова; я еще более уверился в этом, когда он, вскочив со скамьи, начал хвататься за стену, чтоб не повалиться мне в ноги. «Ну, плохой же будет у меня товарищ!» – подумал я, но делать было нечего. Один слуга пошел вперед со свечой, а двое повели с лестницы казака, который, несмотря на мое присутствие, беспрестанно лбызался с своими провожатыми, благодаря их за дружбу и угощение.

Когда мы спустились с лестницы, слуга, который шел впереди, отпер огромным ключом толстые двери, и мы вошли в большую комнату со сводами. Я нехотя заметил, что провожатые мои робко посматривали во все стороны и с приметным беспокойством прислушивались к шелесту собственных шагов своих; он раздавался под сводами обширных комнат, сырых и мрачных, как церковные подземные склепы; недоставало только одних гробов, чтоб довершить это сходство. Мы вошли наконец в одну угольную комнату, кото-

рая более других походила на жилой покой. Множество фамильных портретов по стенам, дюжины две стульев, обитых черной кожей, канапе, кровать с шелковым пологом, большие стенные часы и дубовый стол, на который слуга поставил свечу, а я – бутылку венгерского, составляли все убранство моей опочивальни. Слуги, пожелав мне спокойной ночи, вышли вон.

– Не стыдно ли тебе, Ермилов, – сказал я казаку, который, прислонясь к стене, старался как можно бодрее стоять передо мною, – ну, выпил бы стакан-другой, а то посмотри, как натянулся!

– Никак нет, ваше благородие! – пробормотал казак. – Прикажете, по одной дощечке пройду.

– Молчи, скотина!

– Слушаю, ваше благородие!

– Где мои пистолеты?

– В чушках[36], ваше благородие.

– И ты оставил их там, на конюшне?

– Ничего, ваше благородие! Народ здесь честный, все будет цело.

– Подай мне свои!

Казак вынул из-за пояса свои пистолеты и, подавая мне, сказал:

– Да извольте осторожнее, они заряжены пулями. Знатные пистолеты! Уж здешние люди ими любовались, любовались!..

– Хороши! Пошел, ложись вон на это канапе! Да постарайся выспаться проворнее, пьяница!

Казак, пробираясь вдоль стены, дотащился до канапе, прилег и в ту же минуту захрапел, а я взял свечу и прежде всего осмотрел двери моей комнаты: они запирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мне очень не понравилось, но делать было нечего. Притворив как можно плотнее двери, я взглянул мимоходом на почерневшие от времени портреты, которыми увешаны были все стены. Во всю жизнь мою я не видывал такого подбора зверских и отвратительных лиц. Бритые головы с хохлами, отвислые подбородки, нахмуренные брови, усы, как у сибирских котов, – ну, словом, что портрет, то рожа, и одна другой отвратительнее. «Ай да красавцы, – подумал я. – Ну, если домовые, которые изволят здесь пошалить,

не красивее их, так признаюсь!..» Более всех поразил меня портрет какого-то святочного пугала с золотой цепью на шее, в черном балахоне и в высокой четырехсторонней шапке. Его сухое и бледное лицо, зачесанные книзу усы и выглядывающие из-под навислых бровей косые глаза были так безобразны, что я в жизнь мою ничего гаже не видывал. Внизу на золоченой раме было написано имя пана Твардовского. «Так вот он! – вскричал я невольно. – Ну, хорош, голубчик! И он же приходит с того света живых людей пугать! Ах ты, чертова чучела! – примолвил я, плюнув на портрет. – Да небойсь, меня не испугаешь, еретик проклятый!» Не знаю почему, но я не чувствовал в себе никакой робости, мне казалось, что в Польше и черти должны бояться русского офицера. А притом рассказ моего хозяина хотя и произвел на меня некоторое впечатление, но я знал, что поляки любят при случае отпустить красное словцо и сделать из мухи слона. «Впрочем, – подумал я, принимаясь за бутылку венгерского, – если и в самом деле нечистая сила проказит в этом доме, так что ж? Пошумят, пошумят, да тем дело и кон-

чится. Хорошо демону шутить с еретиком, а ведь я православный!» Рассуждая таким образом, я скинул верхнее платье, положил подле себя саблю и пистолеты, сотворил молитву, перекрестился и, хлебнув еще токайского, улегся на постель. Свет от воскового огарка, который я не погасил, падал прямо на противоположную стену и хотя слабо, но вполне освещал вполне достаточно. Несмотря на то что я вовсе не трусил, ожидание чего-то необыкновенного не давало мне сомкнуть глаз. По временам мне казалось, что все эти портреты как будто бы оживляются, что один моргал глазами, у другого шевелился ус, третий кивал мне головою; и хотя я понимал, что это происходило оттого, что у меня начало уже рябить в глазах, а, несмотря на это, заснуть не мог. На дворе бушевала погода, выл ветер, дождь лил как из ведра, но подле меня и по комнатам все было тихо и спокойно. «Уж не подшутил ли надо мною хозяин, – подумал я. – Чего доброго! Эти поляки любят позабавиться над нашим братом, русским офицером. Вестимо дело! Когда сила не берет, так хоть чем-нибудь душу отвести. Чай, теперь

думает: «Как не поспит всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское-то выйдет ему соком!» Ан нет, брешешь, мось пане добродзею, – засну!» Я опустил закинутый полог и принялся думать о старине, о матушке Москве белокаменной, о Пресненских прудах, о красном домике с зелеными ставнями, о моей Авдотье Михайловне, с которою я был тогда помолвлен, о том о сем – и вот мало-помалу меня стало затуманивать, одолела дремота, и я заснул. В то самое время, как мне снилось, что я прогуливаюсь с моей невестою по Девичьему полю, как будто бы толкнули меня под бок – я проснулся. Ба, ба, ба! Что такое? Кажется, в соседнем покое светло? Отдернул полог, гляжу – точно!.. Не размышляя долго, я вскочил с постели, взял в руку пистолет и, подойдя на цыпочках к дверям, порастворил одну половинку. Ну, это еще не очень страшно: среди комнаты стоит большой стол, на столе огромное блюдо, накрытое чем-то белым, а кругом тридцать стульев. «Посмотрим, – подумал я, – кто это здесь собрался ужинать?» Не прошло пяти минут, как вдруг вдали, как будто бы за версту, послышалось заунывное пе-

ние. Вот ближе, ближе – эге! Да это, никак, поют за упокой: напев точно погребальный, только слов не слышно. Чу! Все замолкло – и вот опять, да уж близехонько, как заревут!.. Господи боже мой! Кто в лес, кто по дрова! И вопят как над могилою, и насвистывают плясовые песни – а содом-то какой! Шум, гам!.. Вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнулись настезь, и полезли в них... да все-то в саванах и в белых колпаках с наличниками, ну ни дать ни взять как висельники! Они входили попарно, а позади всех четверо таких же пугал несли на носилках мертвеца; и лишь только эти последние перешагнули через порог, как вдруг все опять завyli, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, которой был покрыт. Глядь! – точь-в-точь как этот портрет в черном платье: в такой же четырехсторонней шапке, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти. Ахти! Так и есть!.. Это колдун – пан Твардовский!.. Ну, господа, что греха таить! – дрогнуло во мне ретивое! Меж тем вся эта сволочь разместилась по комнате: одни стали рядыш-

ком вдоль стены, другие уселись за столом, сам мертвец расположился на первом месте, только против него один стул остался порожний; и вот, гляжу, колдун манит меня пальцем. «Что делать? – подумал я. – Идти – худо, не идти – стыдно, неравно еще эти польские черти подумают, что я их трушу! Так и быть! смелым бог владеет – пойду!»

Не выпуская из рук пистолета, я подошел к столу: колдун указал мне молча на порожний стул. «Вот что! Так, видно, я был в счету! Добро, добро! Посмотрим, что будет». Я сел. Хотя от времени до времени меня подирал мороз по коже, но я все еще не терял духа; к тому ж все эти святочные пугала сидели и стояли очень смиренно; можно было услышать, как муха пролетит, и даже сам колдун, выпучив свои оловянные глаза, сидел так чинно и неподвижно, как набитая чучела. Прошло минут десять, все тихо: черти молчат, колдун тарщит глаза, а я посматриваю на всю честную компанию и жду, чем дело кончится. Вот стенные часы в моей спальне зашипели, с треском завертели колеса, и колокольчик зазвенел: раз, два, три... Чу! Полночь. Еще две-

надцатый звонок не отгудел, как вдруг колдун зашевелил усами и кивнул головой; один из его собеседников встал, протянул длинную костяную руку, скорчил свои крючковатые пальцы и, ухватив за самую середину белую ширинку, которою покрыто было блюдо, поднял ее кверху... Ух, батюшки! – и теперь не могу без страха вспомнить. Гляжу: на блюде лежит человеческая голова – да еще какая!.. Ах ты господи боже мой!.. Раздутые щеки, нос – два мои кулака, рот до ушей, глаза по ложке... Ну!!! Екнуло во мне сердечко. Эко блюдо изготовили! «Ешь!» – заревел охриплым голосом колдун. «Ешь!» – повторила хором вся нечистая сила. Ой, ой, ой! Плохо дело! Хочу встать – ноги подгибаются; хочу творить молитву – язык не шевелится. А черти и колдун вот так и пялят на меня глазами! Наконец я кое-как промолвил: «Чур меня, чур! Да воскреснет бог!» И что ж! Голова зашевелилась, начала дразнить меня языком и защелкала зубами. Ахти! И молитва не берет! Худо! Не помню сам, как мне пришло в голову, от страха, что ль, только я поднял руку с пистолетом, почти упер в эту чертову башку, взвел

курок... бац!.. Не тут-то было!.. Все черти захотали, а голова раскрыла огромную пасть и, словно из бочки, как грянет басом польскую мазурку. Ну!.. Руки у меня опустились, в глазах запестрело, все вокруг пошло ходуном, в углах поднялся звон, стол запрыгал, черти завертелись как волчки, и я упал без памяти на пол.

Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, но как очнулся, так еще было темно. На дворе ревели грозы, но в комнатах опять все затихло. Стола нет, свечей также, только в спальне чуть-чуть теплится догорающий огарок. Не скоро я образумился; да уж зато лишь только вспомнил, что со мною было, то откуда прыть взялась: мигом оделся, растолкал Ермилова, потащил его за собою в конюшню, разбудил панских конюхов и через полчаса ехал уж опять по лесу. К свету мы добрались до лагеря, и, являсь к своему полковнику, я так его перепугал, что он тот же час послал за полковым лекарем: на мне лица не было! Мартын Адамыч пощупал мой пульс, объявил, что у меня жестокая горячка, прописал лекарство; я его не принял, проспал целые сутки и через

два дня отправился опять искать дачи для нашей полковницы.

– И с тех пор вы никогда не встречались с паном Дубицким? – спросил Заруцкий.

– Нет, Алексей Михалыч, а слышал только, что у него на войне, перед самым концом кампании, захватили целую компанию конфедератов и что после небольшой драки этих господ с одним из наших летучих отрядов казаки, взяв хозяина и многих из его товарищей в плен, сожгли и разорили до основания Бьялый Фолварк.

– Так вы думаете, Антон Федорович, – прервал с улыбкою Черемухин, – уж верно, в числе этих пленных конфедератов было несколько бесов, а может быть, и сам колдун Твардовский попался в руки к казакам?

– Вот уж этого, батюшка, не знаю! – отвечал хладно кровно Кольчугин, набивая свою трубку.

– То есть, Прохор Кондратьич, – сказал хозяин, – ты хочешь намекнуть, что эту ночную комедию сыграли с нашим приятелем пан Дубицкий и его гости для того, чтобы отделаться

от постоя, – не правда ли?

– Что вы, что вы! – вскричал Черемухин. – Да это мне и в голову не приходило. Уж я вам докладывал, что я всему на свете верю. Если б это проказили поляки, так голова бы не запела басом, когда в нее выстрелил Антон Федорович из пистолета. Правда, у пьяного казака не трудно было разрядить пистолеты; но ведь одна догадка не доказательство, и, по-моему, всего вернее, что тут замешалась нечистая сила.

– Ты забавляешься, любезный, – прервал Заруцкий, – а я так скажу вам, почтенный Антон Федорович, без всяких обиняков, что вас одурачили поляки: им нужно было как-нибудь избавиться от постоя. А чтоб одеться в маскарадные платья, просунуть голову сквозь прорезанные стол и блюдо и разрядить пистолеты пьяного казака, так – воля ваша – на это не много надобно хитрости. Знаете ли что? Я, на вашем месте, сам бы порядком над ними позабавился. Вам стоило только притвориться, что вы хотите отведать блюда, которым вас потчуют, и если б вы одной рукой схватили за нос эту жареную голову, а в другую взя-

ли бы столовый нож, так, я вас уверяю, она не запела бы басом мазурку, а разве протанцевала бы ее на своем блюде. Эх, Антон Федорович! Так ли еще обманывают честных людей, когда это надобно. Вот и со мною был однажды случай, который хоть кого бы свел с ума...

– С тобою, – прервал с любопытством хозяин, – когда это?

– Лет семь тому назад, когда я носил еще гусарский мундир и был с моим полком в Италии. – С Суворовым?

– Да, дядюшка. Если хотите, я расскажу вам об этом. Слушайте!

БЕЛОЕ ПРИВИДЕНИЕ

— В сражении при Нови[37], где русские и французские войска под начальством Суворова разбили наголову французов, я находился с моим эскадроном при отряде, которым командовал любимец Суворова, генерал Милорадович[38]. В ту самую минуту, как он повел вперед свою колонну, чтоб атаковать центр неприятельской армии, убило подмною ядром лошадь, и я получил такую сильную контузию, что несколько часов сряду пролежал без памяти. После сражения меня отправили сначала в небольшой городок Акви, а потом перевезли в Турин, где я пролежал более двух недель в постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски и мог изредка беседовать с моим хозяином, но, несмотря на это, умирал от скуки и тоски. Когда мне сделалось легче и я стал прохаживаться по моей комнате, то мне посоветовали лечиться за городом. Это было в конце августа месяца, жары стояли несносные, и я сам чувствовал, что свежий деревенский воздух необходим для восстановления моего здоровья. Австрийский

комендант отвел мне прекрасную квартиру верстах в десяти от города, на даче сеньора Леонардо Фразелани, богатого туринского купца. Я послал туда передовым моего денщика с квартирным билетом, а сам на другой день ранехонько поутру отправился в наемной карете и, остановясь на минуту полюбоваться великолепной площадью Св. Карла, выехал через предместье Борго-ди-По за город.

Я никогда не бывал в южной Италии, но если в ней климат и природа лучше, чем в Пиемонте, так уж подлинно можно ее назвать земным раем и цветником всей Европы. Трудно и живописцу дать нам ясное понятие об этой яркой зелени полей, усыпанных благовонными цветами, об этих темно-синих и в то же время прозрачных небесах Италии, так мне нечего и говорить с вами об этом. Вы, дядюшка, бывали на Кавказе и в Крыму, следовательно, лучше другого поймете, с каким восторгом смотрел я на это безоблачное южное небо и цветущие окрестности города, усеянные рощами шелковичных деревьев. Мы, дети севера, воспитанные среди об-

ширных полей и дремучих лесов нашей родины, привыкли с ребячества любить раздолье и простор; так вы можете себе представить, как я обрадовался, когда выехал за город и мог свободно дышать этим животворным деревенским воздухом, напитанным ароматами цветов. Я не успел отъехать двух верст от заставы, как почувствовал в себе такую перемену, что готов был хоть сейчас на коня, саблю вон и в атаку. Мне было так легко, так весело... О! Без всякого сомнения, противоположности необходимы для нашего земного счастья! Если бы я не просидел несколько недель в тесной комнате, в которой, как в аптеке, все пропахло лекарством, если б мрачный и узкий переулок, в который никогда не заглядывало солнышко, не был единственным видом, коим я любовался из моих окон, то вряд ли бы в жизни моей нашлось несколько часов сряду совершенного, не отравленного ничем благополучия. Миновав потешный дворец, называемый *Королевским виноградником*, я выпрыгнул из кареты и пошел пешком. Мой жадный взор обегал свободно и униженные загородными домами холмистые берега реки По, и об-

ширную равнину, которая оканчивалась к северу высокими Пиемонтскими горами. Вблизи, с правой стороны, на Капуцинской горе возвышалась готическая церковь монастыря; позади, еще выше, сквозь темную зелень оливковых деревьев белелись зубчатые стены Камальдульской пустыни, а прямо передо мною, вдали, прорезывая утренний туман, плавал как на облаках огромный купол *Сюперги* – сей знаменитой соперницы колоссального Петра и Павла в Риме. С каждым шагом вперед горизонт расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые следовали непрерывно один за другим, не заметил, как прошел верст пять перед моей каретой: она тащилась за мной шагом по большой дороге. «Э, гей! Синьор официале, синьор официале! – закричал мой кучер. – Маледетто![39] Синьор официале!» Я обернулся: карета стояла у самого въезда в тенистую аллею из пирамидальных тополей, шагах в двухстах от большой дороги, она примыкала к густой каштановой роще. Я воротился и, продолжая идти пешком впереди моей кареты, в несколько минут достиг до рощи и потом пря-

мой просекою вышел опять на открытое место, которого сельский и спокойный вид так мне понравился, что я остановился на минутку им полюбоваться. Представьте себе широкую долину, посреди которой змеилась излучистая речка, огибая в своем течении несколько высоких холмов, поросших сплошным кустарником; она вливалась в светлое озеро с покатыми берегами, которые без всякого преувеличения можно было назвать персидскими коврами, так они были испещрены бесчисленным множеством самых ярких и разнообразных цветов! Прямо против каштановой роци, из которой я вышел, на самом берегу озера, проглядывал сквозь померанцевых деревьев и густых кустов благовонной акации одноэтажный дом с плоскою кровлею и красивым портиком; гибкие виноградные лозы обвивались около колонн, которые поддерживали мраморный фронто́н, и на всех окнах стояли фарфоровые вазы с цветами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель с широкими италиянскими окнами. Лицевой его фасад был обращен на двор, а противоположная сторона выходила

ла в сад, который окружал с трех сторон и дом, и все принадлежащие к нему строения. От самой каштановой рощи начинался обширный луг, по которому извивалась речка, впадающая в озеро. Пять-шесть крестьянских изб, разбросанных в живописном беспорядке, красивая мельница на ручье, несколько коров и резвых коз, рассыпанных по лугу, и милостивая девушка, которая, зачерпнув воды, несла ее на ту пору в глиняном кувшине на своей голове, оживляли эту сельскую, исполненную прелести картину. «Да это настоящая идиллия в лицах! – вскричал я, невольно посмотрев вокруг себя. – Жаль только, что недостает пастуха и пастушки. Ага! Да вон и они!» – продолжал я, увидев под одним кустом молодого человека, который сидел на траве рядом с девушкой лет шестнадцати. Они оба были одеты просто, по-деревенскому, но отменно щеголевато; и если бы соломенная шляпка, в которой была девушка, попала в Москву на Кузнецкий мост[40], так, уверяю вас, она недолго бы залежалась в модном магазине. Молодой человек был недурен собою, а его подруга... О, такое мило видное,

выразительное лицо, такие черные, пламенные глаза можно только встретить в одной Италии! «Позвольте спросить, – сказал я, подойдя к этим нежным голубкам, которые о чем-то вполголоса ворковали меж собою, – ведь это дача синьора Фразелини?» Девушка вскрикнула, ударилась бежать, и, прежде чем я успел окончить мой вопрос, ее и след простыл. Молодой человек также смутился, но отвечал очень вежливо: «Точно так, синьор официале! Это поместье принадлежит Леонарду Фразелини, если угодно, я вас провожу до дому». Я пошел вслед за ним по берегу реки, а карета поехала по дороге, которая шла прямо через луг на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли через ручей по красивому китайскому мостику, я спросил молодого человека, не сын ли он помещика?

– Извините, синьор официале! – отвечал он. – Я Корнелио Аничети, родной его племянник.

– А красавица, с которой вы сидели под кустом, верно, сестра ваша!

Смуглые щеки Корнелио вспыхнули.

– Нет! – сказал он отрывисто. – Это камериора моей тетки.

– Неужели? Она так хорошо одета, что я подумал... А как зовут эту прекрасную служаночку?

– Челестиною.

– Она очень мила.

Корнелио посмотрел на меня пристально, и, признаюсь, для моего самолюбия приятно было заметить, что этот инспекторский смотр не очень его успокоил.

– Да! – сказал он наконец. – Это правда, Челестина мила, но она очень дика и, сверх того, извините, синьор официале, терпеть не может иностранцев. Но вот и дядюшка идет к нам навстречу, – прибавил он, указывая на человека пожилых лет с приятной и почтенной наружностью.

Хозяин принял и обласкал меня как родного, а жена его, синьора Аурелия, долго не могла опомниться от удивления при виде варвара русского, который отпустил ей с полдюжины комплиментов на самом чистом тосканском наречии. В продолжение всего дня я не видел никого, кроме моих хозяев, их племян-

ника, проворного слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронеллою. Под вечер, когда мы все сидели на дворе, появилась наконец Челестина. Она уселась смирехонько в одном углу, на низенькой скамейке, и так занялась каким-то рукоделем, что я не мог даже полюбоваться ее черными глазами, – она ни разу не подняла их кверху. Разговаривая со мною, синьора Аурелия сказала между прочим, что она не знает, понравится ли мне приготовленная для меня комната.

– Вам надобен покой, – говорила она, – а ваша горница рядом с нашей спальнею; мы встаем очень рано и можем вас потревожить.

– О, что касается до меня, – отвечал я, – обо мне не хлопочите! Я боюсь только, чтоб мне вас не беспокоить. Да нет ли в этом флигеле лишней комнаты? – продолжал я, указывая на длинное строение с итальянскими окнами.

– В нем все комнаты свободны, – сказал хозяин, – да он и выстроен для моих гостей; но с некоторого времени... – Тут синьор Фразелини остановился и, взглянув значительно на

жену свою, замолчал.

– С некоторого времени? – прервал я. – А что такое?..

– В нем никто не живет.

– А для чего?

– Да как бы вам сказать? Ведь вы, господа военные, ничему не верите. В этом флигеле поселились нечистые духи.

Я засмеялся.

– Смейтесь, синьор официале, смейтесь! А это точно так же правда, как то, что я имею честь говорить с вами об этом. Месяца два тому назад заметили, что во флигеле бывает по ночам какой-то странный шум и раздаются жалобные стоны; но это бы еще ничего: почти каждую ночь, часу в двенадцатом, иногда ранее, иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарем в руках. Я сам несколько раз видел – вот из этой комнаты, – как оно прогуливается взад и вперед мимо всех окон.

– И вам ни разу не приходило в голову, – прервал я, – что это проказит какой-нибудь шалун?

– Как не приходиться; но тут есть одно обсто-

ительство, которое разрушает все мои догадки. Надобно вам сказать, что комнаты в этом флигеле расположены точно так же, как кельи в монастыре. Во всю его длину устроен длинный коридор, из которого десятью дверями входят в столько же особых комнат, отделенных одна от другой капитальными стенами, и, чтоб перейти из одной комнаты в другую, необходимо надобно выйти прежде в коридор. Вы завтра можете во всем этом увериться сами. Теперь прошу вас растолковать мне, каким образом обыкновенный человек, а не дух или привидение, будет расхаживать во всю длину флигеля мимо окон, не останавливаясь ни на минуту, идя ровным шагом; словом, прогуливаясь свободно взад и вперед, как по одной длинной галерее, в которой нет никаких перегородок? Тут, кажется, долго рассуждать нечего: или между комнат есть прямое сообщение, или никакие преграды для него не существуют, и он проходит сквозь капитальную стену точно так, как мы в растворенные двери. Никаких сообщений и дверей между комнат нет; в этом, повторяю еще раз, вы сами можете завтра увериться: следо-

вательно, этот ночной посетитель не проказник, не шалун, а просто или нечистый дух, или неотпетый мертвец, или, что всего вероятнее, какая-нибудь христианская душа, которая страдает в чистилище и нуждается в наших молитвах. Здесь все уверены, что это душа бедного Паоло, бывшего моего садовника, который прошлую зиму удавился в этом флигеле. Сна чала нас очень это тревожило, но теперь мы уже привыкли; впрочем, до сих пор, кроме племянника, никто не вызывался переночевать в этом флигеле. Правда, и ему это даром не прошло: привидение точно так же, как и всегда, прогуливалось по комнатам, а он до того напугался, что всю ночь пролежал без памяти.

В продолжение сего рассказа я заметил две вещи: во-первых, то, что племянник хозяина вспыхнул, когда речь дошла до него, а во-вторых, что хотя синьор Фразелини и синьора Аурелия твердо были уверены, что в их флигеле поселились жители не нашего мира, но что, несмотря на это, в одной с нами комнате кроме меня были еще люди, которые не очень этому верили. Я сидел против большо-

го зеркала; в нем отражалось все, что было у меня за спиной, то есть и вся противоположная стена, и двери, подле которых стоял слуга Убальдо, и уголок, в котором сидела красавица Челестина. Раза два я подметил, что их взгляды встречались меж собою и что следствием этой встречи была всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. «Ну! – подумал я. – Побьюсь об заклад, что эта плутовка Челестина знает лучше своих господ, как мертвецы проходят сквозь капитальные стены». Поговорив еще несколько времени об этом странном случае, я простился с моими хозяевами и отправился в мою комнату. От перемены места или от чего другого, только мне вовсе не спалось. Из комнаты моей можно было видеть весь флигель. Вот так немного за полночь одно окно во флигеле осветилось; я вскочил с постели и, точно, видел своими глазами, что какое-то привидение в белом саване с фонарем в руках прошло раза три вдоль всего флигеля мимо самых окон и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это был обман – я не сомневался; что причины этого обмана были

самые земные – и в этом я был также уверен; но как это происходило и в чем состоял сей оптический обман – вот уж этого я не мог никак постигнуть. Я думал, думал, и если привидение не напугало меня, то все-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертеться с боку на бок, я с первым светом встал с постели, оделся и пошел гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься; все спали в доме, кроме вашего покорного слуги и какой-то ранней пташечки, которая пропорхнула мимо меня в ту самую минуту, как я стал подходить к садовой стороне флигеля. «Ага! – подумал я. – Вот что! Если б в этих комнатах не поселились нечистые духи, так жили бы люди, – понимаю! Ну, господин Корнелио, порядком же вы морочите вашего дядюшку!»

Весь этот день провел я по-прежнему с моими дорогими хозяевами: думал о моей утренней встрече, о белом привидении и наконец как будто бы попал на истинный путь. Мне оставалось увериться, справедливы ли мои догадки, и в то же время, не делая вреда никому, избавить, если можно, моего госте-

приимного хозяина от этих ночных посещений. После ужина я заперся в свою комнату и часу в двенадцатом ночи, обернувшись с головы до ног в белую простыню, прокрался потихоньку в сад и подошел к флигелю. Представление уже началось; хотя я зашел не с той стороны, но отгадал это потому, что двери были отперты и что на дворе полусонный сторож начал громким голосом творить молитву. Я потихоньку взобрался на лестницу и спрятался в темном углу в коридоре. Через минуту все догадки мои оправдались. «Постояйте же, господа артисты! – сказал я про себя. – Вас надобно так пугнуть, чтоб вам и в голову не пришло играть в другой раз эту комедию». В коридоре стоял деревянный стул; я взмогился на него, опустил вплоть до полу мою простыню и заохал таким нечеловеческим образом, что почти сам испугался. Вдруг из двух комнат выскочили два белых привидения... О, ужас! Точно такое же третье привидение, только гораздо огромное, стоит перед ними неподвижно, испуская тяжкие, могильные стоны. «Кто ты?» – раздался трепещущий и весьма знакомый мне голос. «Моли-

тес за меня! – проговорил я протяжно. – Я самоубийца, я грешник Паоло!» Батюшки мои, как бросились от меня эти два несчастных привидения! Они кубарем скатились с лестницы, растеряли свои белые мантии, и я во все не удивился, когда хозяин сказал мне на другой день, что слуга его Убальдо и племянник Корнелио занемогли оба ночью и лежат в постели. Я перешел во флигель, прожил в нем преспокойно два месяца, и уверяю вас, дядюшка, что во все это время белое привидение ни разу не приходило ко мне в гости.

– Ну, брат, молодец же ты! – сказал Иван Алексеевич. – Только, воля твоя, я все порядком в толк не возьму... Ты говоришь, что их было двое... так что ж?..

– А вот что, дядюшка. Они оба были одеты одинаким образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второго покоя, то в ту же минуту прятал огонь и, ударив кулаком в стену, выбегал в коридор; потом, войдя в третью комнату, прижимался к стене. Второе приви-

дение, услышав сигнал, открывало свой фонарь и начинало идти мимо окон до самой стены третьего покоя, из которого продолжало эту прогулку опять первое привидение, и так далее, до конца флигеля. Все это было у них так улажено, что всякий подумал бы, что мимо окон прошла одна и та же фигура, и со двора решительно невозможно было заметить этого обмана.

– Ну, хитро придумано!.. Что и говорить, на свете много обману! Конечно, как иногда не посомниться, не поразмыслить – у каждого свой царь в голове, но не верить ничему и во всем сомневаться...

– Видит бог, грешно! – прервал Кольчугин, раскрыв снова свои молчаливые уста. – Покойный мой батюшка, дай бог ему царство небесное, вздумал также однажды поумничать, да так-то невпопад, что после дал зарок ни в чем не сомневаться и всему на свете верить.

– А что такое с ним сделалось? – спросил хозяин.

– Да так, батюшка, был случай такой! Он не один раз мне сам изволил об этом расска-

зывать.

– А ты, любезный, расскажи нам.

– Рассказать не фигура, только дело-то такое курьезное, что, того и гляди, эти господа на зубки меня подымут, – промолвил Кольчугин, указывая на Заруцкого и Черемухина. – Да, пожалуй, чего доброго, и покойнику батюшке достанется.

– И, сударь, – прервал я, подвигаясь к Кольчугину, – какое вам до них дело! Рассказывайте.

– Да, да! – подхватил хозяин. – Что тебе на них смотреть! Рассказывай!

– Ну, если вам угодно, так слушайте!

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

— Отец мой был человек старого века, — начал так Антон Федорович Кольчугин, — хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть выстроить хоромы саженьях на пятнадцать, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь свою ни разу и не подумал об этом, жил себе в маленьком домишке, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами, и под веселый час так-то бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который, не тем будь помянут, попивал, а лихо, разбойник, играл на гусях; бывало, как хватит «Заря утренняя взошла» или «На бережку у ставка», так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь

днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли проезжие, хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голосом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить, любил пображничать покойник! Бывало, как залучит себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное, чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки, сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело было к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так захолодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка,

чтоб провести время до ужина, – а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу, – принялся за Четьи-Минеи[41]. Развернул наудачу – и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского[42]. Когда он дошел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным такое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канаве и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что– то зазвенело, он очнулся, слышит – бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

– Что ты, братец? – спросил батюшка.

– Пришел, сударь, доложить вам, – отвечал слуга, – что на селе остановились приказный из города да казаки, которые едут с Дону.

– Ну так что ж? – прервал батюшка. – Беги скорей на село, проси их ко мне да не слушай никаких отговорок.

– Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут, – пробормотал сквозь зубы Андрей.

– Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину, – продолжал батюшка, – и вели принести из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

– Милости просим, дорогие гости! – сказал батюшка, идя к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ Спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: Вот здесь! Но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже и не

поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура, – подумал батюшка, – что это крапивное семя не знает бога, но ведь казаки – народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином, казаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка, хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и, вместо ответа на его кудрявое приветствие, закричал: «Гей, малый! Запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму ста кану.

– Ну-ка, любезные! – сказал батюшка, наливая их вровень с краями. – Поотогрейте свои душеньки, чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей глядь поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся – ни капельки! «Ай да питу

хи! – подумал батюшка. – Ну!!! Нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!» В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у всех волосы рыжие, а щеки – как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех курьезнее показался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видел! Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица; давно не бритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие, прищуренные глаза вертелись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкрадывается ночью к какому-нибудь

зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся. «Но эта улыбка, – говаривал не раз покойный мой батюшка, – ни дать ни взять походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

– Ну, что, приятели, – спросил он казаков, – что у вас на Дону поделывается?

– Да ничего! – отвечал казак с толстым брюхом. – Все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем...

– Попевайте, любезные, – продолжал батюшка, – попевайте, только бога не забывайте!

Казаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

– Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трын-трава!

Батюшка нахмурился: он любил пожить,

попить, пображничать, но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда.

– Из уголовной палаты, сударь, – клоном приказный.

– Ну что подельывает ваш председатель? – продолжал батюшка.

А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.

– Что подельывает? – продолжал приказный. – Да то же, что и прежде, сударь, служит верой и правдою...

– Да, да! Верой и правдою! – подхватили в один голос все казаки.

– А разве вы его знаете? – спросил батюшка.

– Как же! – отвечал казак с совиным носом. – Мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

– Да разве он хотел у вас побывать?

– И не хочет, да будет, – прервал казак с большой головою. – Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкой:

– Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

– Как так? – вскричал батюшка. – Да месяц тому назад он при смерти был болен.

– Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

– А, понимаю! – прервал батюшка. – Верно, доктора советовали ему ехать туда, где теплее?

– Разумеется! – подхватили с громким хохотом казаки. – Ведь у нас за теплом дело не станет: грейся сколько хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке, но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал,

чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату, а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди, но всякий раз, как нарочно, кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Казаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество, а приказный – про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки – это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояли пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок,

которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться, и он точно этому удивлялся – только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уж вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить, но четыре бутылки сантуринаского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подурмянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему милыми, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее: они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными отцами и даже – страшно вымолвить! – забыв, что они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме, а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: «Удалая голова, не

ходи мимо сада» – и вошел в такой задор, что хоть сейчас вприсядку. Меж тем казаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебным, третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что вы думаете, батюшка испугался? Нет! Все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

– Эге! – вскричал подьячий. – Да вон там на последнем окне стоит, никак, запасная бутылочка с наливкою, нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин, я и так ее достану, – примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

– Ого! Какая у тебя ручища-то, приятель! – закричал с громким хохотом батюшка. – Аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинные...

– Да зато память коротка, – прервал один из казаков.

– А вот увидите! – продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола. – Небось вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так пом-

ню: начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью, чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать, чтоб они почаще умирали да пореже каялись!

– Что ты, что ты? – проговорил батюшка, задыхаясь со смеху. – Да этак у нас все суды опустеют.

– И, хозяин, о чем хлопочешь! – продолжал приказный, наливая стаканы. – Было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной – ура!

– Выпили? – закричал казак с крючковатым носом. – Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшего. Кто станет с нами пить, тот наш, а кто наш, тот его.

– А как зовут вашего старшину? – спросил батюшка, принимаясь за стакан.

– Что тебе до его имени! – сказал казак с большой головою. – Говори только за нами: «Да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит».

– Но кто же он такой?

– Кто наш отец и командир? – продолжал казак. – Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки свет. Рассказывают также, будто бы он жалуется содом, гомор и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить, да это все бабьи сплетни. Наш господин – барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся да не верь тому, что печатают под титлами[43], – вот и вся служба. Ну что? Ведь не житье, а масленица, не правда ли?

Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.

– Я что-то в толк не беру, – сказал он.

– А вот как выпьешь, так поймешь, – прервал подьячий. – Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!..

Все гости, кроме батюшки, осушили стаканы.

– Ба, ба, ба! Хозяин! – закричал подьячий. – Да что ж ты не пьешь?

– Нет, любезный! – отвечал батюшка. – Я и

так уж пил довольно. Не хочу!

– Да что с тобой сделалось? – спросил толстый казак. – О чем ты задумался? Эй, товарищи! Надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

– А что, в самом деле! – подхватил приказный, – мы посидели довольно, не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

– Плясать так плясать! – закричали все гости.

– Так постойте же, любезные! – сказал батюшка, вставая. – Я велю позвать моего гуслиста.

– Зачем? – прервал подьячий. – У нас и своя музыка найдется. Гей, вы, начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты, загремели бубны и тарелки; потом слышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал да как хватит плясовую – и пошла потеха!

– Ну-ка, хозяин, – проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза, – посмотрим твоей удали!

– Нет! – сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится не ладно. – Забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

– Не станешь? – заревел толстый казак. – А вот увидим! – Все гости вскочили с своих мест.

Покойного батюшку начала бить лихорадка – да и было отчего: вместо четырех, хотя и не красивых, но обыкновенных людей, стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал потолок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

– Не станешь! – повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий. – Полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние, а ведь ты наш!

– Как ваш? – сказал батюшка.

– А чей же? Ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить не можно, а ведь ты служишь нашему.

– Да о каком ты говоришь господине? – спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

– О каком? – прервал большеголовый казак. – Вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

– Да что ж он мне за господин? – промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

– Эге, приятель! – подхватил подъячий. – Да ты, никак, стал отнекиваться и чинить за-пирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько, молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, сядясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами?» – что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным. «Господи боже мой!..» – проговорил он,

стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут – то было! Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватал голубца с вывертами и вычурами такими, что и сказать нельзя, а там гости подцепили его да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно: как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канаве и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.

– Ну что? – прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя как полоумный. – Ушли ли они?

– Кто, сударь? – спросил один из лакеев.

– Кто! – повторил батюшка с невольным содроганием. – Кто!.. Ну, вот эти казаки и приказный...

– Какие, сударь, казаки и приказный? – прервал буфетчик Фома. – Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы – не при вас будь слово сказано – коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

– Так у меня сегодня гостей не было? – сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

– Не было, сударь.

– Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! Быть не может! – продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока. – А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

– Не знаю, – отвечал буфетчик, – видно, вы сами изволили их засечь, да не помните спросонья.

– Ты врешь! – закричал батюшка. – Я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал, и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с при-

метным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

– Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? – продолжал батюшка. – Говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом.

– Помилуйте, сударь! – сказал буфетчик Фома. – Иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.

– Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! Где он?

– Вы изволите спрашивать, где Андрей? – проговорил наконец Ванька-гуслист.

– Ну да! Где он?

– В избе, сударь; лежит на столе.

– Что ты говоришь? – вскричал батюшка. – Андрей Степанов?..

– Приказал вам долго жить, – прервал дворецкий, входя в комнату. Он умер!.. Да, сударь! Ровно в десять часов.

Кольчугин замолчал.

– Ну, подлинно диковинный случай! – ска-

зал Алексей Иванович Асанов. – И если твой отец не любил красного словца прибавить...

– Терпеть не мог, батюшка! Он во всемезде слыл таким правдухою, что псовые охотники не смели при нем о своих отъезжих полях и борзых собаках и словечка вымолвить.

– Да что ж тут странного! – прервал приятель мой Заруцкий. – Ваш батюшка заспался, не помнил, что зажег две свечи, и видел просто во сне то, что за несколько минут читал наяву.

– Так, сударь, так! – продолжал Кольчугин. – Да только вот что: спустя несколько времени узнали, что действительно в эту самую ночь три казака с Дону и приказный из города проезжали через село, только нигде не останавливались; и в том же году, когда стали поверять бутылки в погребе, так четырех бутылок виноградного вина и двух бутылок наливки нигде не оказалось.

– Да! Это довольно странное стечение обстоятельств, – сказал исправник.

– И все этому дивились, батюшка! – промолвил Кольчугин.

– То есть проезду казаков и подьячего, –

прервал Заруцкий, – а что в погребе не нашлось несколько бутылок, так это доказывает только одно, что ключник покойного вашего батюшки любил отведать барского винца и наливки и при сем удобном случае свалил всю беду на безответного черта.

– Вот о чем хлопочет! – сказал Черемухин, взглянув исподлобья на моего приятеля. – Ты настоящий Фома не верный! Да что тут удивительного? Такие ли бывают случаи в жизни? Ну, если б я рассказал вам то, что слышал сам своими ушами от одного из моих знакомых...

– Который узнал об этом, – подхватил с улыбкою исправник, – от своего приятеля, а этому приятелю рассказывала кума, а кума слышала от своего дедушки, а дедушка...

– Нет, сударь, извините, – прервал Черемухин, – тот, кто мне это рассказывал, не только был очевидцем, но даже действующим лицом в сем необычайном приключении.

– Необычайном! – повторил с любопытством хозяин.

– Да, Алексей Иванович! Подлинно, чудный случай! Да и такой-то чудный, что мне

совестно вам рассказывать, тем более что я не могу никак сомневаться в истине сего происшествия.

– Ах, батюшки! – вскричал исправник. – Да это становится весьма интересным. Сделай милость, Прохор Кондратьич, не томи, рассказывай скорее.

– Проказит он, господа! – сказал хозяин, покачивая головою.

– Так я же вам докажу, что нет, – прервал Черемухин. – Прошу послушать. Да слушай и ты, – продолжал он, подмигнув Заруцкому, – ты все подводишь под общие законы природы; посмотрим, как ты изъяснишь мне естественным образом то, что случилось с моим приятелем!

КОНЦЕРТ БЕСОВ

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве, — начал так рассказывать Черемухин, положив к стороне свою трубку, — то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братии, провинциалов, на матушку Москву белокаменную начинаются по большей части перед рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожил, давно уже наша древняя столица была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух

тысяч посетителей и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса[44], который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра[45]. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зерни – так звали этого молодого человека – только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сердечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадыва-

ли, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италийанской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии называли бы сплином, мы называли просто хандрою [46] и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нашего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! – говорили мы ему. – Что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад, являлся первый и

уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе великого поста, и, чтобы не по пасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться до сыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем – блины, катанья, званые обеды, вечером – театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушаю-

ций гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят, во что бы ни стало, веселиться, – все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного пооглядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу – высокий муж чина, в красном домино и маске, манит меня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

– Садись подле меня, – сказал он, – насилу-то мы с то бою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? – продолжал замаскированный, – неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да, – подумал я, – в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен...»

– Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! – сказал человек в красном домино, приподымая свою маску.

Я невольно отскочил назад – сердце мое замерло от ужаса... Боже мой! Так точно, это Зорин! Это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точ-

но он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

– Что ты? – спросил он с какою-то странною улыбкою. – Уж не находишь ли ты, что я переменялся?

– О! Чрезвычайно!

– Так зачем же говорят, что печаль меняет человека... Неправда! Не печаль, а разве радость.

– Радость?

– Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай! – продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя. – Только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

– Она?.. Кто она?

– Лауретта.

– Неужели?

– Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза;

а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все, – живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством, – и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!

– Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! – прервал я моего приятеля. – У нас не так тепло, как в Италии, но также бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая итальянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт...

– Да! Один и последний. Я согласился на это; пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

– Так она хочет навсегда здесь остаться?

– Да, навсегда. Ну видишь ли, как она меня любит? Но зато и я... О! Любовь моя не чувство, не страсть... Нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня... Да! Она хотела этого... – Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: – Я отдал ей мою душу, – теперь я весь ее... Понимаешь ли, мой друг?.. Весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

– Эх, братец! – сказал я с досадою. – Как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно.

Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем...

– Сердцем! – повторил насмешливым голосом мой приятель. – Да что такое сердце? Разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг! Дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце – ее не закопают в могилу.

– Да сделай милость, – прервал я, – покажи мне эту волшебницу, эту Армиду[47], которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.

– Я не знаю сам, где она живет.

– Нет, шутишь?

– Да, мой друг, я выдаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее

концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

– А когда будет ее концерт?

– На будущей неделе в пятницу.

– На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе великого поста не дают никаких концертов.

– Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде.

– Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

– Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

– Ровно в полночь! – сказал я, взглянув на мои часы. – То есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случилось самим, господа, встречать великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слышали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил великий пост и что все публичные

удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, отстают, над самой моей головой раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! Как они испугали меня!» – проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венециане. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонду: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая – капустою. Длинное пугало поздравляло всех с великим постом, прибавляя

к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецианца. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь непрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой-то иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи. «Лауретта! – повторил я невольно. – При-

мадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая итальянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в ротонде Петровского театра и кончилось

там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл, – сказал он мне, – что я в последний раз виделся с тобою накануне великого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой, – сказала она мне, когда я взял ее за руку, – я требую также, чтоб ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь в ротонде будет репетиция концерта, который я даю в субботу». – «Но к чему так поздно? – спросил я. – И пустят ли меня?» – «Не беспокойся! – отвечала Лауретта. – Для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб никто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей му-

зыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особенно когдапустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, – промолвила она тихим голосом, – но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем – и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась бога. По

временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.

– Ты можешь себе представить, – продолжал Зорин, – с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью, – о мой друг! Таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманном искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить

чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить в колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В половине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не

знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или отчего другого, только я приметным образом стал спокойнее и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было сразу все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи – одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с на-

пудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

– Позвольте вас спросить, – сказал я моему соседу, – ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

– Точно так.

– Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономиею, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

– Это Моцарт[48].

– Моцарт! – повторил я. – Какой Моцарт?

– Какой? Вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»...

– Что вы, что вы! – прервал я. – Да он года четыре как умер.

– Извините! Он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидит Чимароза[49] и Гендель[50], а позади Рамо[51] и Глук[52].

– Рама и Глук?..

– А вот налево от нас стоит капельмейстер

Арая[53], которого опера «Беллерофонт»[54] была дана в Петербурге...

– В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?

– Точно так! С ним разговаривает теперь Люлли[55].

– Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?

– Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан-Жак Руссо[56]. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами...

– Да что ж это значит? – прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. – Ба, ба, ба! – вскричал я. – Так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! Вы ли это, Степан Алексеевич?

– Да, это я! – отвечал он очень хладнокровно.

– Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?

Сосед мой кивнул головой.

– Однако ж позвольте! – продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом. – Что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?

– Извините! – отвечал мой сосед. – Не шесть, а ровно семь.

– Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.

– Статься может. А вы когда изволили скончаться?

– Кто? Я?.. Помилуйте! Да я жив.

– Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! – сказал покойник, пожимая плечами.

Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венециане появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов – и каких, мой друг!.. Господи боже мой! Что за фигуры! Журавлиные шеи с соба-

чьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками – одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.

– Что это за лубочный сундук! – ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. – Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?

Лауретта молча указала на моего соседа;

контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху сглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходы, а особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою станет увеличиваться расстояние, их разделяющее, как вечность, будут бесконечны ее страдания, и их

души, как свет у тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражена было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! Где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящих крещендо, составленного из самых диких и противоположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное браво раздалось по зале и несколько голосов закричали: «Синьора Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам, снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам... и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместе юного, цветущего лица моей Лауретты – иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальных зрители заговорили все разом и подняли

страшный шум. «Ах, какие прелести! – кричали они с восторгом. – Посмотрите, какой череп, – точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»

– Синьора Бальдуси, – сказал Моцарт, вставая с своего места, – потешьте нас: спойте нам «Blondina in gondoletta»[57].

– Да это невозможно, синьор Моцарт, – прервал капельмейстер. – Каватину «Blondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарой, а здесь нет этого инструмента.

– Вы ошибаетесь, maestro di capella![58] – прошептала Лауретта, указывая на меня. – Гитара перед вами.

Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинут свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом что кровь застыла в моих жилах.

– А что, в самом деле, – сказал он, – подайте-ка мне его сюда! Кажется... да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.

Трое зрителей схватили меня и передали

из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что век нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но, когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ригурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкою. Но более всех блаженствовала оставшая нога моя: восторг ее доходил до какого-то исступ-

ления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд... Ах, мой друг! Вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом... Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздались хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась

мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще», – примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.

– Какова история? – спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя. – Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!

– Помилуйте, Иван Алексеич! Какие сказки? Это настоящая истина.

– В самом деле?

– Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.

– Полно, братец! Да это курам на смех! Воля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого – гитару.

– Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он благодаря бога еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста...

– В желтом доме?[59] – прервал исправник.

– Вот этого не могу вам сказать! – продол-

жал спокойно Черемухин. – Может быть, его давно уже и перекрасили.

– Ах ты, проказник! – подхватил хозяин. – Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?

– От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.

– Смотри, пожалуй! – вскричал хозяин. – Какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит – не улыбнется! Впрочем, и то сказать, – прибавил он, помолчав несколько времени, – приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?..

– А что вы думаете? – сказал я. – Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.

– И, полно, братец, – прервал с улыбкою За-

руцкий, – да этак бы и числа не было выходцам с того света!

– Напротив, – продолжал я, – эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ...

– Сродству душ? – прервал Заруцкий. – А что ты разумеешь под этим?

– Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! Всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше – способность жить и действовать; и точно так же как тело без души, всякий инструмент, без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, на-

пример, хоть гитару, а на одну из струн ее – небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но тогда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попробайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я рас толкую тебе, что понимаю под словами: *симпатия* и *сродство душ*.

– Ба, ба, ба! Любезный друг! – сказал Заруцкий, улыбаясь. – Да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за тобою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.

– Ты шутишь, Заруцкий, – прервал исправ-

ник, – а мне кажется, что Михаила Николаич говорит дело[60]. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуйста, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честью, что это правда.

ДВЕ НЕВЕСТКИ

— В начале 1792 года гусарский полк, в котором я служил корнетом, стоял в Белоруссии, и мой эскадрон занимал квартиры в местечке, принадлежащем двум братьям, князьям Лю.....ким. Они жили вместе с своими женами в их наследственном и великолепном замке. Радужное их обращение с русскими офицерами, а более всего веселый образ жизни, напоминающий роскошное хлебо-сольство древних магнатов Польши, вошли в пословицу между нашими офицерами. «Хоть бы князьям Лю.....ким задать такой праздник!» – говаривали мы всегда, когда хотели похвалить чье-нибудь угощение.

Изо всех офицеров моего эскадрона я более других был ими обласкан и в течение двух или трех недель сделался в их семье совершенно домашним человеком. Обе княгини были женщины отменно любезные и могли назваться красавицами. Если б они были родные сестры, то и тогда бы нельзя было не подивиться их необычайной дружбе; но две невестки, две хозяйки в одном доме, которые

живут душа в душу, – такая диковинка, какой не всякому удастся на роду своем увидеть. Нельзя было сказать, чтоб их нравы были совершенно сходны меж собою; напротив, одна из них, жена старшего брата, которая называлась Жозефиною, была самого кроткого характера и даже несколько холодна, а другая отменно жива и вспыльчива; но, несмотря на это различие, которое, впрочем, заметно было только в отношении к другим, никогда ни малейшая досада не нарушала их семейственного согласия. Жозефина очень часто разговаривала со мною об этой дружбе.

– Вы не можете себе представить, – сказала она мне однажды, – какое странное и даже непонятное для нас самих чувство мы питаем друг к другу. Говорят, что мы живем как родные сестры, да это вовсе не то. У меня были три сестры, я любила их, но совсем другим образом. Когда я в первый раз увидела Казимиру – так называли меньшую невестку, – то мне показалось, что ее-то именно и недоставало для моего благополучия; что иногда в грустные минуты я тосковала о ней, и хотя решительно увидела ее тогда в первый раз,

но готова была побожиться, что и черты лица ее, и звук ее голоса, и даже некоторые, собственно ей принадлежащие, выражения и привычки давно уже мне знакомы; что мы, не знаю где и когда, но только непременно и любили друг друга, и жили вместе. Не правда ли, что это очень странно? А ведь еще страннее, что Казимира при первой встрече со мною почувствовала то же самое? Ну вот после этого не верьте симпатиям! Сколько раз случалось, я задумаю какую-нибудь новую забаву, хочу сделать ей сюрприз, и что ж?.. Ей именно то же самое придет в голову. Она затеет потихоньку от меня какое-нибудь веселье, секретничает, хлопочет – и вдруг я начну с нею советоваться, каким образом уладить точно такой же праздник, какой она хотела дать мне нечаянно. Мы никогда еще не расставались, и я думаю, что разлука будет для нас большим несчастьем. Мало ли что случается? Одна из нас может умереть, нам не удастся проститься друг с другом... О, вы не можете представить, как эта мысль нас пугает! Правда, мы на этот счет взяли некоторые предосторожности, – продолжала Жозефина,

улыбаясь, однако ж, вовсе не шутя, – мы связали себя клятвою.

– Клятвою?

– Да. Мы поклялись друг другу, что если судьба приведет одну из нас умереть прежде и мы в эту минуту не будем вместе, то умершая должна непременно, не покидая еще земли, явиться к той, которая останется в живых.

– Но подумали ли вы, – сказал я также не шутя, – что исполнение этой клятвы зависит не от вас?

– О, как же! Мы на этот счет взяли свои предосторожности. Говорят, что всякая клятва, данная и не исполненная в здешнем мире, станет в будущем тяготить нашу душу, то есть мешать ей наслаждаться вполне блаженством, если она его заслужит, и для того мы поклялись с условием.

– С условием?

– Да, с условием. Наша клятва должна только иметь силу в пределах возможного. Nous avons juré jusqu'aux bornes de possible[61]

Когда она выговорила эту французскую фразу, которую повторяю вам от слова до сло-

ва, то я не мог удержаться от смеха – так показалось мне забавным это детское простодушие милой Жозефины.

– Ого, княгиня! – сказал я. – Да вы знаете приказный порядок и взяли все законные предосторожности; теперь, если одна из вас выполнит свое обещание, так это будет даже не чудно, потому что свершится в пределах возможного.

– Смейтесь, смейтесь! – прервала Жозефина. – А я уверена, что если одна из нас кончит жизнь не на руках у другой, то или мы умрем в одно время, то есть в один час, в одну минуту, или непременно повидаемся друг с другом перед нашей земной разлукою.

Муж княгини Казимиры страдал уже несколько лет от одной хронической болезни, которая, несмотря на старание лучших медиков тамошнего края, очевидно усиливалась и могла превратиться в неизлечимый недуг. По общему совету докторов ему оставалось испытать последнее средство, то есть ехать за границу и полечиться у иностранных врачей, а в особенности у знаменитого доктора Франка[62], который в то время был в Париже. Как

ни тяжело было для княгини расставаться на долгое время, но необходимость требовала этой жертвы. На прощанье они еще раз повторили свою клятву и обещались, не пропуская ни одной почты, писать друг другу обо всем.

Прошло месяца два; вот в одном из своих писем Казимира уведомила свою невестку, что она отправляется с больным своим мужем в Париж. Это известие очень беспокоило Жозефину: французская революция становилась час от часу грознее, и хотя кровь не лилась еще реками, но все заставляло думать, что предсказания и догадки европейских журналистов, как крики зловещих птиц, не предвещают ничего доброго. Напрасно Казимира успокаивала своего друга. «Ты не должна за нас бояться, — писала она. — Мы, иностранцы, будем жить тихо, не станем мешаться в политические дела, так нас и не заметят в Париже». Все это казалось Жозефине недостаточной порукою за их безопасность. Между тем время шло да шло. Робеспьер, Марат, Дантон[63] и сотни других тигров, представлявших в лице своем великую нацию, начинали

понемногу приучать ветреных французов к кровавым пиршествам, на которых деспотизм палачей величали свободою; судом называли человеческую бойню, а народом французским – шайку разбойников и убийц, и чтоб равенство, это слово, не имеющее никакого морального смысла, сделать хотя физически возможным, предлагали для уравнивания всей нации подрубливать головы тем, которые имели несчастье родиться повыше других. Но в то же время как истинные отцы отечества извещали своих сограждан, что они с родительским сердоболием приискивали все средства, как бы облегчить страдания умирающих на эшафоте; и посему, дабы рубить головы и скорее и опрятнее, изобрели *филантропическую* машину, которую называли гильотиною. Жозефина все это читала в журналах, следовательно, не могла оставаться спокойною. Замечая тоску своей жены, князь Лю...кий давал беспрестанно праздники, балы, концерты – одним словом, употреблял все средства, чтоб рас сеять ее горечь. На одном из этих балов, на который съехались к ним человек двести гостей, я заметил, что

Жозефина была скучнее обыкновенного.

– Здоровы ли вы? – спросил я, садясь подле нее в танцевальной зале.

– А что? – шепнула княгиня. – Разве я кажусь больною?

– А если вы здоровы, так позвольте вам сказать, что вы вовсе не походите на хозяйку, которая дает такой блестящий бал. Взгляните, как все оживлено в этой зале: три мазурки в одно время!.. Даже старики поднялись, а вы не танцуете! Да будьте повеселее; ведь так подумают, что вы не рады вашим гостям.

– Так что ж? Пускай себе думают что хотят, а мне, право, не до танцев.

– Вы меня пугаете, княгиня! Уж не имеете ли вы какого-нибудь неприятного известия из Парижа или давно не получали оттуда писем?

– Напротив. Я получила сегодня письмо от Казимиры, и весьма приятное. Она пишет, что в Париже очень весело, что журналисты все увеличивают, что, несмотря на угрозы республиканской партии[64], король любим и если б захотел только унять этих крикунов, так все пошло бы по-прежнему, но он слыш-

ком бодр и не хочет прибегать к силе, тем более что это волнение умов не может долго продолжаться: такое постоянство было бы не в характере французской нации. А сверх того, королева французская, которая очень мило стива к Казимире и приглашает ее на все свои маленькие вечера, открыла ей по секрету, что глава, или, лучше сказать, душа революции, этот граф Мирабо[65], перешел на сторону правительства. Что ж касается до прочих зачинщиков, то они не только ничтожны, но даже отвратительны и гадки в глазах целого Парижа. Все это должно бы, кажется, меня успокоить, а, напротив, я никогда еще не была так растревожена, как сегодня.

– Да что ж вы чувствуете?

– И сама не знаю. Вот тут на сердце у меня так тяжело!.. Мне так грустно!.. Вы скажете, что это малодушие, ребячество, – быть может! Да что же делать, когда в нас есть что-то такое, что несравненно сильнее всякого рассудка. Конечно, и я могу притворяться веселою, но это будет одно притворство.

– А вы его ненавидите, княгиня. Однако ж так и быть, притворитесь! Я слышал, что ино-

гда актеры увлекаются своими ролями; почему знать, может быть, и вы забудете ваше горе; протанцуйте первую мазурку нехотя, а вторая будет забавлять. Пойдемте!

Княгиня молча подала мне руку, и мы, составив четвертую мазурку, пустились танцевать наперерыв с другими. В самом деле, Жозефина поразвеселилась, и к концу бала на прекрасном лице ее не оставалось даже и следов прежнего беспокойства и горести.

Вот после ужина гости стали расходиться; ближайšie соседи разъехались по своим деревням, а те, которые жили подалее, остались ночевать в замке; в числе последних было несколько молодых барынь. Хозяйка, уложив их спать в одной большой горнице, расположилась и сама ночевать вместе с ними. Я отправился также в свою комнату и верно бы проспал крепким сном до самого обеда, когда бы рано поутру не разбудила меня какая-то необычайная тревога в целом доме: везде хлопали дверьми и по всем коридорам поднялась такая беготня, что если б хотя немного пахло дымом, так я подумал бы, что мы горим. Я вскочил с постели, оделся на скорую

руку и побежал узнать причину этой суматохи. Любимица панны Жозефины, черноглазая Юлия, на которую я давно уже засматривался, первая повстречалась со мною в коридоре и сказала мне мимоходом, что княгиня занемогла, что ей сделалось ночью очень дурно, что она во сне или наяву, наверное не знают, но только видела что-то страшное и лежит теперь без памяти. Не прошло и двух часов, как все остальные гости разъехались, и этак часу в десятом пришли мне сказать, что княгиня просит меня к себе.

Я нашел ее в совершенной больной; она сидела совсем одетая на канаве и на вопрос мой о внезапной ее болезни отвечала, что чувствует себя совершенно здоровою. В самом деле, кроме необычайной бледности, на лице ее не заметно было никаких признаков болезни, но с первого взгляда на ее мутные и распухшие глаза не трудно было догадаться, что она очень много плакала.

– Садитесь вот здесь, подле меня! – шепнула Жозефина тихим голосом.

– Что с вами сделалось, княгиня? – сказал я, садясь на канаве.

– Ничего. Я знала это наперед. О! Сердце мое предчувствовало, оно меня никогда не обманывает.

– Да что такое?

– Я ее видела.

– Видели?.. Кого?

– Ее. Она приходила со мною проститься.

– Да о ком вы говорите?

– О моем друге.

– О вашей невестке?

– Да.

– Что вы, княгиня, помилуйте! Это так – расстроенное воображение. Вы много танцевали, кровь ваша была в волнении, и какой-нибудь сон...

– Сон! – повторила Жозефина с грустной улыбкою. – Сон! Нет, я не спала... Послушайте, я расскажу вам все.

В продолжение сего чудного рассказа я беспрестанно смотрел на нее, надеясь подглядеть в глазах ее признаки бреда или горячки, но, кроме тихой и спокойной грусти, я не мог заметить ничего на ее бледном и усталом лице. То, что она мне рассказала, было так странно и в то же время носило на себе такой

отпечаток истины, что все слова ее врезались в мою память, и я могу вам повторить ее рассказ без всякой ошибки и перемены, точно так, как будто бы слышал его вчера.

Жозефина, уложив спать своих гостей, заснула сама крепким сном часу во втором утра. Засыпая, она даже, сверх обыкновения, ни разу не подумала о Казимире. По ее догадкам, она спала уже более часу, как вдруг ей послышался тихий шелест, и на нее повеяло какою-то приятной весенней прохладой. Она проснулась. У самого ее изголовья стояла женщина в белом платье с остриженными волосами; на ней не было никаких украшений, кроме красного ожерелья на шее и черного пояса с стальной пряжкой. Несмотря на то что в комнате горела одна ночная лампада, Жозефина рассмотрела все это с первого взгляда. Лицо этой женщины было покрыто, или, лучше сказать, на него было наброшено короткое белое покрывало; она стояла неподвижно и держала руки, сложив крестом на груди. В первую минуту испуга Жозефина не могла выговорить ни слова, а потом, когда хотела позвать своих девушек и разбудить го-

стей белая женщина подняла покрывало и сказала тихим голосом:

– Не пугайся, мой друг, это я!

– Боже мой! – вскрикнула Жозефина. – Это ты, Казимира?.. Возможно ли? Когда же ты приехала? – Она приподнялась, чтоб обнять свою невестку, но Казимира отступила шаг назад и прошептала едва слышным голосом:

– Не прикасайся ко мне, Жозефина! Еще не пришло время, когда тебе можно будет обнять меня и чувствовать, что ты меня обнимаешь. Я пришла проститься с тобою.

– Проститься?

– Да! Разве ты забыла нашу клятву?

Тут Жозефина вспомнила все, и как вы думаете: испугалась или, по крайней мере, пришла в отчаяние? Залилась слезами?.. Нет! Она не чувствовала ни страха, ни горести; и то и другое овладело ее душою после, но в эту минуту она была совершенно спокойна.

– Итак, мой друг, ты умерла? – спросила она Казимиру.

– Да, я умерла в Париже. Мне отрубили голову.

– За что?

– За мою привязанность к французской королеве.

– Злодеи!..

– Не кляни, а благословляй их, Жозефина!

Они отперли двери моей темницы.

– Твоей темницы?.. Какой темницы?

Привидение кротко улыбнулось и не отвечало ничего.

– Скажи мне, мой друг, – продолжала Жозефина, – страшно ли умирать?

– Да, точно так же, как страшно слепому от рождения взглянуть в первый раз на светлое солнце и ясные небеса.

– Ах! Последняя минута должна быть ужасна!

– Да, мой друг! Последняя минута ужасна; но зато первая!..

Неподвижные взоры привидения одушевились.

– И что я прочла в них! – говорила Жозефина, рыдая. – О! Как ничтожно это чувство, которое мы все, минутные гости земли, называем нашей радостью и блаженством!

– Но мы должны расстаться, – сказало привидение. – Прощай, Жозефина! До свиданья...

там – в нашей родине!..

– Постой, мой друг! – вскричала Жозефина. – Скажи, уверена ли ты, что мы опять увидимся?

– О, я не сомневаюсь в этом! Я вижу твою душу: она рвется из оков своих; она не любит своей неволи. Послушай...

Тут тень Казимиры наклонилась и прошептала несколько слов на ухо своему другу.

– Потом, – продолжала Жозефина, – глаза мои сомкнулись, мне послышалось, что в вышине надо мною раздаются какие-то неизъяснимо приятные звуки, и я или заснула опять, или лишилась чувств – не знаю сама; но только все исчезло.

– А что такое шепнула она вам на ухо? – спросил я с любопытством.

– Не спрашивайте меня об этом, – прервала Жозефина, – эти слова умрут – да!.. Они должны умереть вместе со мною.

Как я ни убеждал ее открыть мне эту тайну, все было напрасно. Я заметил только одно, что всякий раз, когда говорил с ней об этом, она начинала плакать; но эти слезы не были слезами горести.

Через три недели мы прочли в парижском журнале «Друг народа»[66], что вскоре после убийства графини Ламбаль[67] казнена была одна иностранка, и как, по обыкновению французских писателей, ни исковеркано было имя этой несчастной, но, к сожалению, нам нетрудно было отгадать в нем фамильное прозвание князей Лю...ких.

Исправник замолчал. Я слушал с большим вниманием его рассказ, но это не помешало мне заметить, что Заруцкий и Черемухин толковали о чем-то меж собою вполголоса, этот последний поглядел на свои часы, и в то самое время, как внимание наше было обращено на рассказчика, вышел потихоньку из кабинета.

– Ну, племянник, – промолвил, улыбаясь, хозяин, – что ты скажешь на это?

– Если б Алексей Дмитрич не был сам очевидным свидетелем этого происшествия, – отвечал Заруцкий, – то я сказал бы вам, что это просто сказки.

– Ну, а теперь что скажешь?

– Теперь скажу, что это странное стечение

обстоятельств – не совсем обыкновенный случай, и больше ничего.

– Как ничего?

– Разумеется. Сон, который видела Жозефина, есть не что иное, как повторение того, о чем она беспрестанно думала наяву; и если б Казимира возвратилась благополучно из своего путешествия, то этот сон был бы забыт точно так, как тысячи подобных снов, которые не сбываются и о которых никто не говорит ни слова.

– Экой ты, братец, какой! Да ведь ты слышал, что это сбылось.

– Да что ж удивительного, когда из миллионов вздорных снов какой-нибудь один нечаянно сбудется! Например, если б жена морского офицера, который отправился кругом света, стала бы очень тосковать о своем муже, то, вероятно, часто бы видела во сне, что он утонул. И если в самом деле он погибнет на море, так вы скажете, что ей было это предсказано во сне?

– Да что ты наладил, племянник, во сне да во сне! Ведь ты слышал, что она видела это наяву.

– То есть ей казалось, что она не спала. Но, так и быть, согласен! Она видела это не во сне; так что ж? Разве не случается видеть наяву предметы, которые существуют только в одном расстроенном воображении нашем? Испытайте не поспать несколько ночей сряду, и вы увидите наяву такие диковинки, какие не пригрезятся вам никогда и во сне. Поговорите об этом с курьерами, которые скачут и день и ночь, не имея времени соснуть ни на минуту. Я сам однажды видел на большой дороге, обсаженной одними липками, целые улицы огромных палат и дворцов, а, кажется, не спал и даже, чтоб не задремать и не свалиться с тележки, пел песни и разговаривал беспрестанно с ямщиком. Знаете ли, до какой степени может иногда приготовленное к чудесам воображение обманывать все наши чувства? Вот, например, теперь темная осенняя ночь, ветер воет, близко полуночи, и мы уже часа три сряду рассказываем друг другу страшные повести. Я уверен, что теперь каждый из нас, не исключая меня, гораздо более обыкновенного расположен к испугу и несравненно легковвернее, чем во всякое дру-

гое время. Нечаянный стук, неожиданное появление какого-нибудь нового гостя, скрип двери, порыв ветра – одним словом, все может нас потревожить и показаться нам неестественным; и если б в эту самую минуту, как я с вами говорю, кто-нибудь, подмостясь, с надворья заглянул к нам в окно, то, без всякого сомнения, самое обыкновенное лицо показалось бы нам нечеловеческим.

– Вот еще вздумал чем пугать! – прервал хозяин, поглядывая робко вокруг себя.

– Какой вздор! – сказал я, взглянув невольно на окно.

– Нет, не вздор! – продолжал Заруцкий. – Мы все имеем какую-то врожденную склонность верить чудесному; и хотя страх – чувство вовсе не приятное, но мы любим это судорожное сжатие сердца, этот холод, которым обдает нас с ног до головы, когда нам кажется, что мы видим что-нибудь неестественное, и коль скоро мы дадим волю нашему сознанию, лишь только оно возьмет верх над рассудком, то мы готовы верить всему, пугаться всего, и точно так же, как в сильной горячке, хотя и сохраняем физические наши

способности, а, несмотря на это, и видим, и слышим, и даже чувствуем все навыворот. Но вот, кажется, и полночь... чу!

На дворе стали бить часы.

– Как страшно завывает этот колокол, – продолжал Заруцкий, считая вполголоса удары. – Пять... шесть... Не правда ли, что в этом звуке есть что-то могильное, зловещее? Восемь... девять... Как заунывно и протяжно раздается этот

Глагол времен – металла звон!..
[68]

Одиннадцать... двенадцать!.. Боже мой!.. Смотрите, смотрите!.. Что это?

Я вскрикнул, Кольчугин уронил на пол свою трубку, исправник и хозяин вскочили с своих мест, и все взоры, по направлению руки Заруцкого, обратились на одно из окон кабинета.

– Кой черт! – вскричал хозяин. – Да что ж он видит? Не знаю, как вы, господа, а я не вижу ничего.

– И я также, – сказал Кольчугин, подымая свою трубку.

– Ах он проказник! – прервал исправник с громким хохотом. – Смотри, пожалуй, как он всех нас переполошил! Ого! Да ты, брат, славный актер, – продолжал исправник, обращаясь к Заруцкому. – Полно, полно, любезный! Не кобенься – никого не обманешь.

Я взглянул на моего приятеля – нет, это не комедия! Его почти безумный и неподвижный взор был устремлен на среднее окно кабинета; все члены его дрожали, волосы стояли дыбом, а на помертвевшем лице изображался неизъяснимый ужас.

– Что ты, что ты, мой друг, – спросил я, подходя к нему, – что с тобою сделалось?

Заруцкий не отвечал ни слова.

– Не трогайте его, – сказал исправник, – он теперь на сцене и так сроднился с своею ролею, что не хочет с нею расстаться.

Вдруг послышались в коридоре скорые шаги, дверь отворилась, и вошел Черемухин.

– Фу, братец, как ты меня напугал, – проговорил Заруцкий, садясь на канапе, – насилу могу отдохнуть!

– Я тебя напугал? – повторил Черемухин.

– Да, ты.

– Чем, если смею спросить?

– Как чем? Я говорил тебе, когда часы на дворе будут бить полночь, чтоб ты при последнем ударе колокола заглянул к нам в окно, а никто не просил тебя закутаться в какой-то белый саван и надеть на голову женский чепец.

– Женский чепец?.. Что ты, в уме ли?

– Ну, вот еще!.. Запирайся!

– Помилуй, братец, да я и с крыльца не сходил.

– Что ты говоришь?

– Ну да! Когда я вышел на крыльцо и увидел, что дождь льет как из ведра, так, не погневайся, не заблагорассудил промокнуть до костей, чтоб для твоей забавы выкинуть проказу, за которую и маленьких детей секут.

– И ты не смотрел к нам в окно?

– Нет.

– Послушай, Александр! – вскричал Заруцкий, побледнев снова. – Эта шутка никуда не годится.

– Какая шутка?.. Ах, батюшки! Да что с тобою сделалось?

– Говори правду, я это требую.

– Тьфу, пропасть! Да если ты мне не веришь, так ступай в переднюю и спроси у людей. Я тебе говорю, что я не только не заглядывал к вам в окно, но даже и с крыльца не сходил. Слышишь, какой идет дождь!.. Если бы я был на дворе, то на мне бы сухой нитки не осталось, а вот, посмотри!.. На, пощупай мое платье!.. Ну что, был ли я под дождем?

Приятель мой замолчал.

– Да разве ты в самом деле что-нибудь видел? – спросил я его вполголоса.

Он сжал крепко мою руку и прошептал прерывающимся голосом:

– Да, мой друг!.. Я видел... О, что я видел!

– Да что такое?

Заруцкий, не отвечая на мой вопрос и как будто бы говоря с самим собою, сказал:

– Кажется, сегодня суббота... Да! Точно, суббота...

– А если хочешь, так и воскресенье: двенадцать часов уж било. Да скажи мне...

– Нет, мой друг! Быть может, это один обман моих чувств... Мне могло показаться!.. Но я видел это так ясно, – промолвил он, поглядев с невольным содроганием на среднее ок-

но кабинета. – Вот тут!.. Против меня!..

– О чем вы, господа, там перешептываетесь?

– Так, дядюшка, ничего! – сказал Заруцкий, стараясь улыбнуться.

– Опять какой-нибудь заговор, чтоб перепугать нас, – подхватил исправник. – Да не трудитесь, господа! Не знаю, как другие, а я за себя отвечаю, два раза сряду не испугаете.

– Ну, не ручайся, любезный! – прервал хозяин. – Если б ты знал историю моего дома и то, что некогда случилось в этой самой комнате, где мы теперь беседуем, то не стал бы так храбриться. Я давно уже здесь живу и благодаря бога никаких страстей не видывал, а как вспомню про эту ужасную историю, так, признаюсь, меня и в петровки мороз по коже подирает.

– А кстати, Иван Алексеевич! – подхватил исправник. – Расскажи-ка нам это предание. Мне давно уже хотелось узнать подробнее об этом *ночном поезде*, о котором так много толкуют во всем нашем уезде.

– И, верно, всякий по-своему, – заметил хозяин.

– Да, каждый по-своему, в одном только все согласны, что эта сказка имеет какое-то истинное происшествие.

– А почему вы называете это предание сказкою? – спросил я исправника.

– Потому, что оно с начала до конца походит на сказку.

– А то, что ты нам сейчас рассказывал, – прервал с улыбкою Черемухин, – чай, по-твоему, история?

– О, это другое дело! – сказал я. – Появление умершей – это сообщение мира невещественного с миром земным; это гармоническое сочувствие душ, доказывающее небесное наше начало; и способность проявления в видимых формах существ, не подчиненных никаким физическим законам, может менее или более оправдаться понятием нашим об организации... то есть о внутренней способности существа бестелесного, которое в отношении своем к внешним пред метам... то есть к видимому или, лучше сказать, к вещественному миру... Но, может быть, вы меня не понимаете?

– Помилуйте! – вскричал преважно Черемухин. – Как не понять, это ясно!

– Смейся, смейся! – прервал исправник. – О, человек совершенно земной! Ты понимаешь и веришь только тому, что дважды два – четыре.

– А тебе бы хотелось, чтоб дважды два было пять?

– Да что с тобой говорить! – продолжал исправник. – Расскажите-ка нам лучше, Иван Алексеевич, эту страшную историю, от которой, как вы сами говорите, и вас иногда мороз по коже подирает.

– Да уж не поздно ли, господа? – сказал хозяин.

– Ах, сделайте милость! – вскричал я. – Мне завтра поутру должно с вами проститься; так я, может быть, никогда ее не услышу.

– Ну, так и быть! – продолжал хозяин. – Только если вы станете зевать, так прошу припомнить, что теперь уже за полночь и что благодаря бога мы все, кажется, бессонницей не страдаем. Ну, слушайте, господа!

НОЧНОЙ ПОЕЗД

— Давным-давно, то есть при царе Алексее Михайловиче...[69] Или нет! При ба-тюшке его, государе Михаиле Феодоровиче [70], это Хоперское поместье принадлежало стольнику Варнаве Глинскому, пращурю отца покойной Софьи Павловны, по смерти кото-рых я купил его – говорят, дорого, а по мне, так задаром, – примолвил Иван Алексеевич, взглянув на окно, из которого днем видны были церковь и приходское кладбище. – Этот Глинский, – продолжал он, – славился в свое время не хлебосольством и разумом, не удальством и молодечеством, которые в кро-ви у всякого русского, но буйством, развра-том, грабежом и дневными разбоями, а что всего хуже, он был отъявленный чернокниж-ник и жил в ладу с самим сатаною. Десять лет сряду сидел он на Хопре, как дикий зверь на перепутье. Когда он выезжал с своею челядью и холопями позабавиться охотою или спус-кался вниз по реке на косной лодке с белым парусом, то все соседние мужички и бедные помещики дрожкой дрожали и, словно от та-

тарского погрома, прятались по лесам и угоняли скот верст за двадцать. Ну, что ты на меня так посматриваешь, Алексей Дмитрич? Чай, думаешь про себя: вот какую околесную несет! А наша братья исправники-то на что?.. А земская полиция?.. Эх, любезный! Тогда было не то, что теперь; времена смутные: то поляки приступят к Москве, то Лисовский[71] с своими налетами начнет разгуливать по матушке святой Руси; и ляхи, и татары, и ереси всякие, и бунты стрелецкие... Да что говорить! Было времечко для разбойников: погуляли, потешились, и кто бога не боялся, на того и суда не было. Так дивиться нечему, что этот богоотступник Глинский делал что хотел: грабил на больших дорогах, вешал и топил в Хопре земских ярыжек, обирал оброк с своих соседей и держал в ежовых рукавицах сердобского воеводу, который не смел и носу показать из города. На месте старых деревянных хором он выстроил эти каменные палаты, обнес их толстым дубовым тыном, поставил белых изб и клетей для своей дворни – словом, сделал из господской усадьбы такой красивый посад, что и сам бы город Сердобск

ему в пригороде не годился. Но зато большая половина его крестьян жила в землянках, приходская церковь совсем обвалилась, а колокольня в сильный ветер, словно ветхая голубятня, скрипела и покачивалась из стороны в сторону.

У этого Глинского была одна только дочь; бедняжка осталась еще в ребячестве сиротою. Глинский возненавидел свою жену за то, что она родила ему дочь, а не сына, осыпал ее беспрестанно ругательствами и под пьяную руку бивал чем ни попало, а так как он и в страстную пятницу разрешал на вино и елей, то не проходило почти дня, чтоб его жене не доставалось, и она, горемычная, месяцев через шесть после первых родов зачахла и умерла от побоев своего мужа. С тех пор прошло годов пятнадцать; бедная сиротинка росла да росла, и хоть ее житье было плохое и за ней почти никакого ухода не было, но она, как полевой цветок, который бережет и лелеет один бог небесный, так выравнялась и похорошела, что даже батюшка ее какой ни был зверь, а не мог подчас на нее не полюбоваться.

Несколько раз пытались окружные дворя-

не и сердобский воевода поунять разбой Глинского; но он всякий раз давал такой отпор, что надолго отбивал у них охоту с ним схватываться. Вот однажды удалось им собрать человек до пяти сот стрельцов и вооружить холеней; они думали, что с такой силою им нетрудно будет не только захватить живьем Глинского и всю его шайку, но даже и каменные его палаты разметать по кирпичику, ай вышло совсем не то. Глинский встретил их на большой дороге с своими молодцами, которых и полсотни не было, а земскому войску показалось, что на него идет несметная рать. Холопи дрогнули и пустились наутек; стрельцы сначала подержались, да как увидели, что от Глинского пули отскакивают и бердыши об него ломаются, так на них нашел такой страх, что и они также ударились бежать без оглядки, Глинский с своей шайкою гнал их вплоть до городской заставы, втоптал в грязь и перерезал более половины, а сам воротился в свой разбойничий вертеп, не потеряв ни одного человека. После такой острастки не только все окружные дворяне, да и сердобский воевода нос повесил. Делать

было нечего, пришлось на время покориться и, сидя у моря, ждать погоды. В Москве было не до них: к ней подступали поляки[72], а гнева царского и опальных грамот Глинский не боялся. Одно только наводило на него страх и ужас: этот разбойник, которого ничем испугать было невозможно, этот злодей и черно-книжник Глинский трусил – как вы думаете – чего?.. Смешно сказать!.. Он до смерти боялся коршунов. С утра до вечера вокруг дома и села ходили люди с заряженными ружьями, и тот, кому, бывало, посчастливится застрелить коршуна, нес его прямо к дворецкому и получал от него два алтына денег и штоф романеи...

– Романеи! – прервал Заруцкий. – Извините, дядюшка, я не думаю, чтоб в старину простые люди пили штофами бургонское вино.

– Да кто тебе говорит о бургонском вине? У наших стариков важивалась настойка, которую звали романею.

– Однако ж, известное бургонское вино...

– Зовут точно так же?.. Так что ж?.. Вот то-то, племянник, если б ты поменьше знал французских, а побольше русских слов, так не

попадался бы впросак как безграмотный и не мешал бы мне рассказывать...

– Виноват, дядюшка, но я читал в одной критике...

– Эх, братец, охота тебе читать всякий вздор!.. Пойдите-ка! На чем, бишь, я остановился?.. Да! На том, что Глинский боялся до смерти коршунов. Причина этого непонятного страха долго была для всех загадкою; но так как под конец все на свете открывается; так вот что дошло до нас об этом по изустному преданию. Глинский, точно, был черно-книжником и помыкал сатаною, как своим крепостным холопом. Да ведь лукавый даром ничего не делает: он пошел к Глинскому в кабалу, но только с тем условием, чтоб он также дал ему на свою душу рукописание, в котором было сказано, что на этом свете демон повинуется ему во всем, охраняет его от огня, воды, меча и всякого другого оружия и не имеет сам над ним никакой власти до тех пор, пока черный коршун не приютится под его кровлею и не совет гнезда, чтоб жить вместе с белой горлинкой. Теперь и вам нетрудно будет догадаться, почему Глинский коршунов не

жаловал и отчего бледнел и дрожал всякий раз, когда эта хищная птица появлялась над кровлею его дома.

Из всех своих челядинцев Глинский особенно любил одного молодого парня, который прозывался Соколом. И подлинно, он был дитина удалой и годился бы в есаулы знаменитому Стеньке Разину. И его обычай, и черный с лоском ус, и окладистая борода, и рост, и сила богатырская – все в нем было по сердцу Глинскому. Никто не знал, откуда он был родом. Однажды в бурную осеннюю ночь приехал этот Сокол один-одинехонек на борзом персидском коне, вошел без доклада к Глинскому и объявил ему, что его зовут Андреем, по прозванию Соколом; что он из московских жильцов, что ему наскучило служить царю-государю и кланяться в пояс думным боярам и что, узнав о привольном житье Глинского, он приехал к нему нарочно за тем, чтоб предложить свои услуги. Глинский принял его в число своих приближенных челядинцев и через несколько месяцев до того к нему привык, что решился выдать за него свою единородную дочь.

Вот этак недели за три до свадьбы на отъезде поле загорелось вдруг Глинскому повидаться со старинным своим приятелем, засурским помещиком[73] Сицким, таким же, как и он, буяном и разбойником. Этот Сицкий лет десять сряду шатался по беду свету, пристаивал ко всем крамольникам, был года два лисовчиком[74] и только что месяца три как воротился в свою наследственную вотчину. Глинский не любил ничего вдаль откладывать: он послал сказать Андрею Соколу, который на охоту не выехал, что препоручает ему на время свой дом, и, не сказав никому, куда едет, отправился прямо с поля в сопровождении двух или трех слуг в засурскую волость своего приятеля. Это неожиданное посещение очень обрадовало Сицкого; пошла гульба и пированье: господа с утра до вечера пили, ели, прохлаждались, песельники орали во все горло, крестьянки и дворовые девки играли в хороводы перед окнами, и во весь тот день на барском дворе был такой содом и Гомер, что когда ударили в колокол к вечерне, то никому в голову не пришло и лба перекрестить. За ужином Сицкий стал похваляться своим

удальством и рассказывал, как он остановил на большой дороге целый обоз и выпряг для себя из возов что ни лучших шесть коней, как он среди бела дня сделал парубку в заповедном лесу у соседа и во все лето кормил свои табуны подножным кормом на чужих полях.

– Ну, есть чем похвастаться! – сказал Глинский, подбоченясь. – Ах ты, горе-богатырь! Видно, у вас по Суре – то все молодцы перевелись. Удалось тебе выпрячь шесть кляч из возов, нарубить дровец в чужом лесу да пощипать у соседа травки, так ты и лба не уставишь [75] – и это, по-вашему, удальство? Ох вы, щепетильники, щепетильники!.. Нет, любезный! Мы на Хопре не так потешаемся: выедем погулять, да как разыграется кровь молодецкая и расходятся руки богатырские, так после нас шаром покати – чистехонько, как у тебя на ладони! Бери все, что ни попалося, души всякого, кто ни повстречался! Мы ведь не по-вашему: на большой дороге с подьячим тягаться не станем, с купцом не торгуемся; а коли захватили целую семью горожан, так мигом суд и расправа: старуху-мать в Хопер, братца – кистенем по лбу, отца – на осину, а

дочку на барский двор – вот это удальство!.. Да постой-ка, любезный, у меня будет в Фомин день, ровно через две недели, большое веселье – пир на весь мир – дочь выдаю замуж. Милости просим на свадьбу в посаженные отцы к моей Варваре, а там выедем поохотиться на большую дорогу, и ты посмотришь сам и расскажешь своим засурским приятелям, как на Хопре веселятся добрые молодцы.

Хозяин обещался приехать, а Глинский, погостив у него денька три, отправился в обратный путь и доехал благополучно домой.

Вот уж остался один день до свадьбы, вот и девичник справили. Беззащитная дочь Глинского заливалась горькими слезами: она была девица кроткая, благочестивая и не могла подумать без ужаса, что будет женою этого разбойника Сокола. Три ночи уж сряду бедная сиротинка рыдала и молилась перед святыми иконами; днем она не смела ни плакать, ни молиться: злодей Глинский грозился убить ее из своих рук, если она станет грустить или хоть наморщится, когда священник поведет ее вокруг надоя. Вот наступил и Фомин день,

отпели заутреню, ударили к часам, а Сицкий все не едет. Вот и обедня отошла, а посаженого отца нет как нет. Я вам уж сказывал, что Глинский не любил ничего откладывать, и когда заблаговестили к вечерне, то он закричал как бешеный: «Не хочу дожидаться посаженого отца! Ступайте под венец!» И вот длинный поезд потянулся от барского двора до церковной паперти. Вечерня кончилась, и началась венчальная служба. Стоя перед наемом подле будущего супруга и повелителя, полумертвая сирота глотала свои слезы, старалась улыбаться и тихо, но твердым голосом отвечала на вопросы священника; словом, все было в порядке, а, несмотря на это, старики покачивали головами. «Эх, неладно! Эх, не к добру!» – шептали меж собою все барские барышни и сенные девушки. И подлинно, было чего испугаться: свеча, которую держала молодая, пылала ясным и чистым огнем, но та, с которою стоял Сокол, горела тускло, дымилась, как погребальный светоч, и без всякой причины три раза сряду гаснула.

Когда венчанье кончилось, то Глинский, как сущий богоотступник, не дав молодым

приложиться к местным иконам, повел их вон из церкви, и поезд двинулся обратно на барский двор.

– Что это шумит там, вдали? – спросил Глинский, садясь на коня. – Уж не едет ли наш запоздалый гость?

– Никак нет, барин! – отвечал один из слуг. – Нам гостей надо ждать не с этой стороны. Ведь это что-то гудит там, за Волчьим оврагом.

– Вы, господа, все хорошо знаете этот овраг, – продолжал Иван Алексеевич, обращаясь к своим собеседникам, – теперь зовут его Чертовым Беремищем. Он был в старину сборным местом шайки Глинского и кладбищем всех проезжих, зарезанных разбойниками на большой дороге.

– Это верстах в двух от вашего дома? – сказал я.

– Нет, версты полторы, больше не будет, – отвечал хозяин. – Ну вот, – продолжал он. – Молодые уселись за свадебный стол; пошло пированье, – заздравный кубок начал переходить из рук в руки, все начали пить и веселиться; один только Глинский сидел, нахму-

рив брови, и прислушивался с беспокойством к отдаленному гулу, который час от часу становился сильнее. Вот уж дело пошло за полночь, вдруг двери настежь отворились, и давно жданный гость, приятель Сицкий, вошел в столовую.

– Хорош посаженный отец! – вскричал хозяин, вскочив из-за стола и идя к нему навстречу. – Уж мы тебя ждали-ждали, да и ждать-то перестали.

– Виноват, любезный, – отвечал Сицкий, – позамешкался, выехал из дому, да вот у твоей околицы близко часу провозились. Что за диковинка такая?.. И подо мной и под моими хлопьями кони словно белены объелись: храпят да упираются! Уж мы бились-бились, ну, хоть зарежь – ни с места! Я оставил моих ребят в поле, а сам дошел пешком до твоего дома. Да что, иль к тебе еще гости едут? Вон там, правее, за лесом такой шум, гам и свист, что и сказать нельзя. Ну вот, слышишь?

– Слышу, – отвечал Глинский, посматривая робко вокруг себя, – но только я никаких гостей не жду.

– Пойдите-ка, дядюшка, – прервал Заруц-

кий, – никак, ваш рассказ на деле свершается? Слышите ли, какой гул идет за дубовой рощею?

– Видно, ветерок разыгрался, – сказал Иван Алексеевич, взглянув на окно. – Ведь здесь как подымется погода, так по оврагам и перелескам пойдет такой вой, что и боже упаси!.. Да не перерывай меня, племянник!.. Ну, вот опять сбил!.. Да!..

– Но что ж мы стоим у дверей, – продолжал Сицкий, – подведи меня к молодым.

– Вот они! Прошу любить и жаловать, – сказал хозяин, подходя с своим гостем к столу, за которым сидели новобрачные.

– Ба, ба, ба! – вскричал Сицкий, отступая с удивлением назад. – Что это?.. Уж не мерещится ли мне?.. Нет!.. Так вот твой зять! – промолвил он, указывая на Сокола, который вдруг побледнел как мертвец.

– Ну да! Чему ж ты дивишься?

– И ты выдал за него свою дочь?

– Так что ж? Он дворянского отродья, служил жильцом в Москве и хоть роду не знаменитого...

– Да, братец, да! Он точно роду не знамени- того, – подхватил с громким хохотом Сиц- кий, – его мать была цыганка, а отец – тата- рин.

– Ты лжешь! – закричал Глинский.

– Да если я лгу, так что ж твой дорогой зять не вымолвит ни словечка? Иль у него язык отнялся?

В самом деле, Сокол сидел как приговорен- ный к смерти и не только не мог выговорить ни слова, но не смел поднять глаз и взглянуть на своего тестя.

– Не ведаю, служил ли он жильцом в Москве, – продолжал насмешливо Сицкий, – а знаю наверно, что во всей лагерной челяди панов Лисовского и Сапеги[76] не было ни од- ного коновала досужее и коновала удалее твоего любезного зятюшки.

Около минуты просмотрел Глинский мол- ча на своего зятя; вдруг глаза его засверкали, и он сказал грозным голосом:

– Все равно! Теперь он зять мой и, если кто-нибудь дерзнет порочить Андрея Соко- ла...

– Да разве его зовут Соколом? – спросил

Сицкий.

– А почему же и не так? Он молодец из молодцов и поделом прозывается ясным Соколом.

– О, если так, то прошу прошенья! – подхватил Сицкий. – Коли он заелся в чины, так, видно, в самом деле был на службе царской. Шутка ли, подумаешь! Из коршунов махнул прямо в соколы.

– Из коршунов? – вскричал Глинский.

– Ну да! Его теперь прозывают Соколом, а в наше время он звался просто Черным Коршуном.

– Черным Коршуном! – повторил страшным голосом хозяин.

Взоры всех присутствующих невольно устремились на Глинского, все с трепетом ожидали чего-то ужасного. Вдруг завыл буйный ветер, погасли свечи перед святыми иконами, а над трубою дома закаркал ворон и прокричал человеческим голосом:

– Глинский! Черный коршун приютился под твоею кровлею!

– И свил гнездо, чтоб жить вместе с белой горлинкой, – промяукал мохнатый кот, вы-

глядывая из-за печки.

Стук, стук! – раздалось под окном, и отвратительный сиповатый голос прохрипел:

– Глинский, выходи на крыльцо, принимай гостей!

Вдруг сверкнул в руке Глинского широкий нож, и Сокол повалился мертвый на землю. Как безумный бросился убийца вон из столовой и пробежал в эту самую комнату, где мы теперь сидим и в которую, кроме его, никто не хаживал. Он схватил большую книгу в черном переплете, хотел ее раскрыть – да не тут-то было! Железные застёжки как будто бы спаялись, книга не разворачивалась, а за лежанкою и по темным углам поднялся такой нелепый хохот, что чародейная книга выпала из онемевших рук его. Меж тем все небо вспыхнуло и зарделось, как от сильного пожара, и тут-то начался этот ночном поезд, который, по словам стариков, каждые двадцать пять лет в тот же самый день и час повторяется и поныне в этом доме. По дороге от Волчьего оврага показались незваные гости; вокруг их ревели буря, и от конского топота ши-

рокие поля тряслись, как зыбкое болото. Впереди всех ехал на лошадином остове удушенный накануне свадьбы купец в белом саване; за ним тянулся длинный ряд мертвецов: кто с перерезанным горлом, кто с разmozженной головой, и при свете кровавого зарева не видно было и конца этому ужасному поезду. Они подъехали к барскому двору, с громким скрипом распахнулись ворота...

Иван Алексеевич замолчал.

– Ну что ж вы, дядюшка, остановились? – спросил Заруцкий.

– Постой-ка, брат Алексей! – шепнул хозяин. – Что это такое?.. Слышите?

– Да, – сказал Кольчугин, – это уж не ветер воеет.

Мы все стали прислушиваться: в самом деле, что-то похожее на свист, песни и громкий человеческий говор сливалось с воем ветра. По временам можно было даже различить стук колес по неровной дороге и сильный конский топот.

– Кому бы, кажется, ехать так поздно? – промолвил почти с робостию хозяин. – Боль-

шая дорога отсюда далеко, а к себе я никого не жду. Уж не подгулял ли мой приказчик? Чего доброго, пожалуй, вздумает прокатить гостей по селу. Ведь он сегодня справляет свои именины.

– А как его зовут? – спросил я.

– Его зовут Фомою.

– Фомою! – повторили мы все в один голос и взглянув невольно друг на друга.

– Итак, сегодня Фомин день? – сказал я. – Тот самый, в который...

– Чу! – вскричал исправник. – Слышите ли?.. Отпирают ворота!

Вдруг как будто бы целая ватага пьяных с неистовым криком хлынула на барский двор, как бешеные подскакали к подъезду, и шум от скорых шагов, по-видимому, многолюдной и буйной толпы людей раздался на крыльце. У нас в комнате было тихо, как на кладбище, мы все едва смели дышать; один Кольчугин казался поспокойнее других, но зато на хозяйне и на остальных гостях лица не было.

– Господи боже мой, – прошептал, заикаясь, Черемухин, – да что ж это такое?.. Слышите ли? Они в сенях... Если это гости, так зачем

они найдут налево, в переднюю? Они подходят к нашей стене... Чу!.. Что это?

Вот с треском и громом посыпались кирпичи и отбитая штукатурка на каменный пол сеней.

– Господи, помилуй нас, грешных! – вскричал хозяин. – Слышите ль? Они проламывают закладенные двери!.. Они хотят ворваться в эту комнату!.. Так точно!.. Господа, это *ночной поезд!*

Мы все повскакали с наших мест. Стук беспрестанно увеличивался. Вот уж в стене остается один только ряд кирпичей... Мы ясно слышим какой-то странный говор, крик, дикий хохот... Вот падают последние кирпичи... Один только ковер, которым прикрыты были закладенные двери, отделяет нас еще от сеней. Вдруг свежий, холодный воздух ворвался в наш теплый покой, ковер начинает колебаться, и мы все бросаемся стремглав вон из комнаты.

– Тише, господа, тише! – закричал Кольчугин. – Вы перебьетесь до смерти: здесь так темно, что зги не видать!

И подлинно, мы все как полоумные бежа-

ли по коридору, спотыкались, падали и давили друг друга. Вот кой-как мы выбрались на простор, но все еще в потемках. Парадные комнаты не освещены; только в одной столовой светится огонек: мы бросились туда. Все люди Ивана Алексеевича, робко прижавшись один к другому, стоят в куче посреди комнаты; в передней никого, а в сенях ужасная возня, которая вовсе не утихает, а становится час от часу сильнее.

– Да что ж мы, в самом деле, так опешили? – проговорил наконец Кольчугин. – Нас человек двадцать: чего нам бояться? Я один-одинехонек ужинал с целой дюжиной чертей, да ведь ничего же со мной не было. Эх, господа! Что робеть, то хуже! Дайте-ка мне свечу!.. Ну-ка, ребятишки, перекреститесь да с молитвою за мной!

Мы все толпою двинулись за нашим предводителем. Почти рядом с ним шел хозяин, а позади всех, едва переставляя ноги, тащился насмешник Черемухин. Вот мы вошли в переднюю. Кольчугин приостановился у сенных дверей, оградил себя крестным знаменiem; мы все – и слуги и господа – кто про себя, кто

вслух творили молитвы, и хотя трепещущим голосом, но громче всех восклицал: «Да воскреснет бог!» – наш полумертвый от страха ариергард. Кольчугин, держа в одной руке свечу, толкнул другою в двери; они распахнулись. Все наше христоролюбивое воинство заколебалось, попятилось назад и примкнуло к ариергарду, который сделал уже налево кругом и приготовился к ретираде.

– Смелым бог владеет! – закричал Кольчугин, переступая через порог.

И что ж?.. О чудо!.. Вдруг все замолкло: и стукотня, и шум, и крик. За Кольчугиным вошел хозяин, за ним – исправник, я и Заруцкий, за нами – вся толпа слуг, а часть ариергарда, то есть Черемухин остался в лакейской и высунул только из дверей свою голову. Наш храбрый предводитель поднял кверху свечу: в сенях никого! Мы кинулись к закладенным дверям; ни один кирпич не выломан, штукатурка не обита; кругом все смирно, тихо; половая щетка, приставленная к стене, и несколько изломанных стульев стоят преспокойно на своих местах; дверь на крыльцо заперта, и даже крючок не вынут из пробоя...

На другой день рано поутру я простился, и, к несчастью, навсегда, с добрым и почтенным Иваном Алексеевичем. Я думал прожить несколько дней в Сердобске, чтоб похлопотать о своем деле, но вместо того должен был провести целый месяц в деревне Заруцкого. Бедный мой приятель едва не умер от отчаяния: он оставил свою невесту совершенно здоровою и нашел ее в гробу. Она занемогла поутру в субботу, а ночью на воскресенье, *ровно в двенадцать часов*, скончалась, назвав его в последний раз по имени.

Комментарии

Впервые – «Библиотека для чтения». 1834. Т. 3.

Печ. по изд.: Загоскин М. Н. Сочинения: В 2-х т. М. 1987. Т. 2.

Примечания

Рэдклиф – Радклиф Анна (1764—1823) – английская писательница, автор популярных романов «ужасов».

[^^^]

Жанлис Софи Фелисите (1746—1830) – французская писательница.

[^^^]

«То в восторге юной радости»... – строка из стихотворения А. Н. Муравьева (1806—1874) «Русалки».

[^^^]

4

...в Иванов день... как цветет папоротник. – По народным повериям, в Иванов день в местах цветения папоротника можно отыскать клад.

[^^^]

5

...от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву. – С весны 1771 г. по январь 1772 г. в Москве была эпидемия чумы, вызвавшая народные волнения и беспорядки. Восставшими был занят Кремль и убит глава московской церкви митрополит Амвросий.

[^^^]

...в сражении с Огинским при Столовичах... – Михаил Казимир Огиньский (1729—1800) – литовский гетман, командовал войсками в сражении 13 сентября 1771 г. с войсками А. В. Суворова под Столовичами (Минская губерния).

[^^^]

Золотые ефимки – русское название западно-европейской серебряной монеты (иоахимсталера), из которой в России в XVII – нач. XVIII вв. чеканили серебряные деньги.

[^^^]

8

Дормез – дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

[^^^]

...расписанной боскетом диванной... – боскет
(фр.) – купа деревьев.

[^^^]

10

Апроши – змеевидные и зигзагообразные земляные рвы, устраиваемые атакующими для незаметного приближения к осажденной крепости.

[^^^]

...маляра Ефрема, о котором бессмертный певец Ермака... – имеется в виду автор поэмы «Ермак» И. И. Дмитриев и его «Надпись к портрету «Ефрема-живописца» (1791).

[^^^]

...Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка, – Речь идет о взятии Кракова 15 апреля 1772 г., когда русские войска под командованием Суворова выступали на стороне короля Станислава Понятовского в войне с конфедератами – вооруженном союзе польской шляхты.

[^^^]

Взятие Измаила. – Речь идет об одной из самых блестящих побед Суворова, когда во время русско-турецкой войны (1789—1791) была взята штурмом считавшаяся неприступной крепость Измаил (1790).

[^^^]

...ОХОТНИЧЬИХ одиноких... ружей – одно-
СТВОЛЬНЫХ.

[^^^]

Прагский золотой крест в петлице... – награда за взятие Праги (предместья Варшавы) в 1794 г.

[^^^]

...плакса Гераклит... – Гераклит (кон. VI – нач. V в. до н. э.) – древнегреческий философ-диалектик, представитель ионийской школы; высказал идею непрерывного изменения («в одну реку нельзя войти дважды»): противопоставлялся Демокриту как философ-пессимист.

Демокрит (ок. 470/460 – сер. IV в. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики.

[^^^]

«Петербургские ведомости» – «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая русская газета, издававшаяся с 1728 г.; с 1800 г. стала еженедельной.

[^^^]

Московский «Вестник» – имеется в виду журнал «Вестник Европы», двухнедельный журнал, основанный в 1802 г. Н. М. Карамзиным. В 1806 г., к которому относится действие «Вечера на Хопре», журнал издавался М. Т. Каченовским (1775—1842), будущим академиком и ректором Московского университета.

[^^^]

«Московский курьер» – еженедельник С. М. Львова (1805—1806).

[^^^]

«Любитель словесности» – журнал, издававшийся в Петербурге в 1806 г. Н. Ф. Остолоповым (1783—1833), критиком, поэтом и прозаиком.

[^^^]

«Московский зритель» – журнал, издававшийся в 1806 г. князем П. И. Шаликовым (1768—1852), поэтом сентиментального направления.

[^^^]

«Собеседник» – журнал «Московский собеседник» издававшийся в 1806 г.

[^^^]

Ничего неделанье (ит.).

[^^^]

Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка. – См. коммент.[12].

[^^^]

Ландскрона – местечко под Краковом, со старинным замком, взятым войсками Суворова в мае 1772 г.

[^^^]

Подожди (пол.).

[^^^]

Конфедератка – польский национальный мужской головной убор в виде четырехгранной шапки без козырька, с кисточкой наверху. Вначале ее носили конфедераты-повстанцы.

[^^^]

Кунтуш – верхний кафтан с длинными рукавами, распространенный в Польше и на Украине.

[^^^]

Канapé – небольшой диван с приподнятым изголовьем.

[^^^]

Извините!.. (Пол.)

[^^^]

Боже мой! (Пол.)

[^^^]

Сейчас (пол.).

[^^^]

Благодарю за честь! (Пол.)

[^^^]

Чтоб их черти взяли! (Пол.)

[^^^]

Милостивый государь (пол.).

[^^^]

Чушки (чухи) – кожаные чехлы для седельных пистолетов.

[^^^]

В сражении при Нови... – сражение при городе Нови во время итальянского похода Суворова (август 1799 г.), когда русско-австрийская армия нанесла поражение французским войскам.

[^^^]

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) – граф, генерал от инфантерии, ученик Суворова, участник итальянского и швейцарского походов; во время отступления Наполеона из России командовал авангардом русской армии; был смертельно ранен во время восстания декабристов Каховским.

[^^^]

Проклятие (ит.).

[^^^]

...попалась в Москву на Кузнецкий мост... – Улица Кузнецкий мост с многочисленными магазинами и лавками заграничных товаров была символом поклонения французской моде.

[^^^]

Четвы-Минеи – «ежемесячные чтения», сборники житий святых, составленные в порядке дней каждого месяца.

[^^^]

...Исакия, затворника печерского... – монаха
Киево-Печерского монастыря.

[^^^]

...не верь тому, что печатают под титлами... – т. е. слова, напечатанные с надстрочными знаками, означающими пропуск букв; здесь имеются в виду печатавшиеся под титлами: «Бог», «Богородица», «Христос».

[^^^]

Медокс – Мадокс М. – Г. (он был англичанином, а не итальянцем), содержатель московского Петровского театра в 1780—1789 гг.

[^^^]

Петровский театр – находился с 1780 г. на Петровке, в районе нынешнего Большого театра; в 1805 г. Петровский театр сгорел.

[^^^]

...в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою... – неточные строки из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

Армида – героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581), волшебница, обладательница очарованного сада, в котором она удерживала соблазненного ею рыцаря Ринальдо; нарицательное имя для обозначения кокетливой красавицы.

[^^^]

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) – великий австрийский композитор.

[^^^]

Чимароза – Чимароза Доменико (1749—1801) – знаменитый итальянский композитор, три года (с 1787 по 1791) работал в Петербурге.

[^^^]

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) – великий немецкий композитор, проживший полжизни в Англии.

[^^^]

Рамо Жан Филипп (1683—1764) – французский композитор, теоретик оперного искусства.

[^^^]

Глук (Глюк) Кристоф Виллибальд (1714—1787) – композитор, один из реформаторов оперы XVIII в., работал в Вене и Париже.

[^^^]

Арая (Арайя) Франческо (1709 – ок. 1770) – итальянский композитор; с 1735 г. возглавлял в Петербурге итальянскую оперную труппу. Его оперы (в том числе и «Беллерофонт») ставились при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

[^^^]

Беллерофонт – в древнегреческой мифологии герой, победивший на крылатом коне Пегасе трехглавое огнедышащее чудовище Химеру.

[^^^]

Люлли Жан Батист (1632—1687) – французский композитор, основоположник французской оперной школы.

[^^^]

Руссо Жан-Жак (1712—1778) – великий французский писатель и философ; «Деревенский философ» – его одноактная интермедия.

[^^^]

Блондинка в гондоле (ит.).

[^^^]

Дирижер капеллы! (Ит.)

[^^^]

...подле Обухова моста... В желтом доме? –
Возле Обухова моста через Фонтанку нахо-
дился дом для сумасшедших.

[^^^]

...Михайла Николаевич говорит дело. – Загоскин наделяет рассказчика собственным именем и отчеством.

[^^^]

Мы поклялись в границах возможного (фр.).

[^^^]

Франк Иоганн Петер (Иван Петрович)
(1745—1821) – знаменитый врач, несколько
лет работавший в России.

[^^^]

Робеспьер, Марат, Дантон – Робеспьер Максимилиен (1758—1794) – один из якобинских руководителей; в 1793 г. был фактическим правителем Франции; вместе с Маратом проводил политику революционного террора. Казнен на гильотине своими противниками. Дантон Жорж-Жак (1759—1794) – один из вождей якобинцев; в результате разногласий с Робеспьером казнен на гильотине.

[^^^]

...несмотря на угрозы республиканской партии... – В августе 1792 г. король Франции Людовик XVI был отстранен от власти и 21 января 1793 г. был казнен. Королева Мария-Антуанетта была казнена в октябре 1793 г.

[^^^]

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791) – граф, видный деятель Великой французской революции, лидер крупной буржуазии, с 1790 г. состоявший в тайной связи с королевским лагерем и получавший за свое предательство деньги.

[^^^]

«Друг народа» – газета, издававшаяся с 1789 г. Ж. – П. Маратом; это название было и прозвищем самого Марата.

[^^^]

Ламбаль Мари Тереза Луиза де Савой-Кари-
ньяк (1749—1792) – приближенная королевы
Марии-Антуанетты, ставшая также жертвой
революционного террора.

[^^^]

Глагол времен – металла звон! – цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

[^^^]

Алексей Михайлович (1629—1676) – русский царь с 1645 г.

[^^^]

Михаил Федорович (1596—1645) – русский царь с 1613 г., отец Алексея Михайловича.

[^^^]

Лисовский Александр Иосиф (ум. в 1616 г.) – участник польской интервенции 1604—1618 гг. в России. Вместе с Сапегой возглавлял осаду Троице-Сергиева монастыря.

[^^^]

...подступали поляки... – В 1617—1618 гг. польские войска под командованием королевича Владислава вновь подошли к Москве.

[^^^]

...засурским помещиком... – живущим за рекой Сурой.

[^^^]

...был года два лисовчиком... – служил у Лисовского.

[^^^]

...и лба не уставишь... – не перекрестишь.

[^^^]

Сапега Ян Петр Павел (1569—1611) – крупный литовский магнат, сторонник Лжедмитрия II; возглавлял осаду Троице-Сергиева монастыря.

[^^^]